

Д. Я. Айзманъ.

Черные дни

(ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ).

- 1) На чужбинѣ.—2) Рабъ.—3) Земляки.—
4) Объ одномъ злодѣяніи.—5) Немножечко въ сторону.

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.

1904.

WID-LC

P6

3451

.A4

C4

1904

✓

Friedman



емъ :
сказа
прои
тифт
плат
поку
яхъ,
дает
проп
саль
С
рону
тепл.
въ э
шен
лось
лиде
ских

На чужбинѣ.

РАЗСКАЗЪ.

— Какая огромная разница между положениемъ здѣшняго крестьянина и русскаго мужика,— сказала однажды Сара, стоя у аптечнаго шкафа и процѣживая какую-то настойку.— Появился здѣсь тифъ, и каждый больной зоветъ къ себѣ доктора, платить ему за прїездъ десять франковъ и потомъ покупаетъ всѣ нужныя лѣкарства. Въ благодѣяніяхъ, въ бесплатной медицинской помощн не нуждается никто. Какія бы дорогія лѣкарства ты ни прописалъ, покупаютъ все. Шампанское прописать—покупаютъ шампанское.

Слушая Сару, я смотрѣлъ не на нее, а въ сторону, въ раскрытое окно. Стоялъ ноябрь, сухой, теплый, тихій,—такой, какимъ онъ часто бываетъ въ этомъ краю. Огородъ нашъ былъ уже опустошенъ, садъ стоялъ обиженный. За садомъ тянулось темное, унылое поле, а дальше громоздились крутые отроги Вогезовъ, гдѣ на гигантскихъ, синеватыхъ соснахъ догорали теперь по-

слѣдніе лучи заходившаго солнца. Въ лѣсу, въ полѣ и у насть, въ домѣ царила такая тишина, что капли настойки, мѣрно падавшія съ лейки въ веполиную склянку, звенѣли отчетлино и гулко.

— Да,—задумчиво и вѣсколько неохотно отвѣтвль я:—покупаютъ и шампанское... И мясной порошокъ по семи франковъ флаконъ покупаютъ...

— Да и какая же это эпидемія,—медленно и тихо продолжала Сара: — двухъ мѣсяцевъ ве длилась, а смертныхъ случаевъ всего три... Въ русской деревнѣ какъ пойдетъ косить — третью на селенія увоситъ... Нищета, врачъ за тридевять земель, дороги ужасныя... У врача часто нѣть самыхъ необходимыхъ лѣкарствъ. Я недавно читала: нѣть даже хинина, нѣть льду... Три мѣсяца врачъ безъ хинина свѣдить...

Яша, лежавшій на полу, животомъ низъ, и разставляній нѣ кружокъ вагона своей желѣз ной дороги, подвялъ вдругъ къ матери голову и озабоченно сиро силъ:

— Хининъ, ma mère, c'est bien du sulfate de quinine?

Яша любилъ подсаживаться къ Сарѣ, когда она приготовляла лѣкарства, и помогать ей. Она предоставляла ему завертывать въ бумажки порошки и заклеинать кашеткы, и многіе медикаменты были ему хорошо извѣстны.

— Такъ пошли нашъ хивинъ, — продолжаль по-французски мальчикъ: — у насъ его цѣлая банка. А намъ monsieur Grandière продасть еще, сколько угодно.

Яша привсталъ. Лицо его приняло выраженіе серьезное, важное, такое, какимъ оно часто бываетъ у дѣтей, когда они вдругъ набредутъ на особенно счастливую мысль.

— Хоть тысячу kilos! — убѣжденno заключилъ онъ.

Сара, не торопясь, вытирала полотенцемъ лейку и съ грустною улыбкой смотрѣла на мальчика. Я, по прежнему, хмурился и глядѣлъ въ окно, на сизые стебли артишоковъ и на поле, закутанное холодною, мрачною тѣнью. Разговоръ, поднятый Сарой, былъ мнѣ не по душѣ. Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи.

Сара взяла коробку съ какимъ-то сѣроватымъ порошкомъ и стала осторожно насыпать его на чашку вѣсовъ. Не встрѣтивъ видимаго сочувствія своему плану насчетъ хинина, Яша опустился на полъ, обхватилъ худыми ручками колѣна, положилъ на нихъ голову и крѣпко о чёмъ-то задумался.

— И знаешь, — медленно, не глядя на меня, тихо пощелкивая пальцемъ по коробкѣ съ порошкомъ, проговорила Сара: — всетаки... если вдуматься... очень это странно...

Она остановилась.

— Что такое странно?

Сара посмотрѣла на меня долгимъ, внимательнымъ взглядомъ.

— То странно, что мы—здѣсь.

Она сдѣлала неловкое движеніе, порошокъ изъ коробки посыпался широкою струей, чуткое коромысло вѣсовъ подскочило и жалобно звякнуло тонкимъ звономъ... Ни я, ни Сара больше не говорили, Яша тоже сидѣть молча, задумчивый и хмурый. Сумракъ въ комнатѣ дѣлался все гуще и гуще.

II.

Недѣли двѣ прошло, и мы къ этому разговору не возвращались. Думалъ же я о немъ часто.— „Странно, что мы здѣсь!“.. Во время разгара эпидеміи эта мысль нѣсколько разъ приходила и мнѣ. Но долго она у меня не задерживалась и уходила, не нарушая моего покоя. Теперь дѣло обстояло нѣсколько иначе.

„Странно что мы здѣсь!“.. Я нѣважаю въ деревню. Она отлично вымощена; дома въ ней каменные, просторные, большою частью двухъэтажные съ огромными овинами и хлѣвами. Крыты они,—тѣ, которые постарѣе,—темнымъ плитнякомъ, которые поновѣе—красною марсельскою черепицей; у домовъ — троттуары; окна вездѣ большія, ставни и двери — хорошей столярной работы — выкрашены

масляною краской. Улицы освѣщаются керосиномъ, а иногда ацетиленомъ. И, глядя на все это, я невольно начинаю рисовать себѣ другую картину: вросшія въ землю кривыя, темныя мазанки, гнилых стропила въ развороченныхъ соломенныx крышахъ, смердящая грязь, оконца, величиною въ кулакъ и заткнутыя тряпкой... — „Странно, что мы эдѣсь!“.

Я вхожу въ домъ. Первая комната — кухня. Поль выстланъ широкими гладкими плитами; съ потолка свѣщиваются окорока, огромные пласти свиного сала. У стѣны — кровать, съ занавѣсками, съ отличными мягкими матрацами, съ подушками и пуховыми одѣялами. Наволочки чистыя, простыни чистыя. Рядомъ съ кроватью буфетъ. Раскроить его, и на меня глядѣть, съ верхнихъ полокъ, дюжинами тарелокъ, бокаловъ, чашекъ, графиновъ; съ нижнихъ — сложенные въ столбы салфетки, полотенца, скатерти. Противъ буфета — непремѣнно часы, въ длинномъ отъ потолка до полу ящикѣ, и часы эти непремѣнно хорошо ходятъ. Войду въ слѣдующую комнату — дубовый столъ, часто навощеный, часто съ коврикомъ; соломенные стулья, чистыя кровати, орѣховый комодъ, на немъ зеркало, лампа, ящички, назочки... Стѣны оклеены обоями и на нихъ фотографическія карточки въ рамкахъ, иногда гравюры... И опять другая картина встаетъ въ моей памяти: земляной, горбатый, постоянно мокрый полъ, осклизлые, черныя стѣны, туши на-

съкомыхъ, какіе-то остатки тулупа, какая-то гнилая солома и на ней полууголья дѣтн со вдутыми животами и со струпьями на ляцѣ... Тяжелое, томительное смущеніе неожиданно подымается въ моей душѣ, я, къ удивленію моему, мнѣ вачинаеть казаться, что мнѣ хочется назадъ въ Россію.. „А Сара этимъ чувствами томится уже давно“, — дѣлалъ я догадку.

Я оглядывался на прошлое, припоминаль въ-которые моменты язъ нашей жизни за послѣдніе мѣсяцы, и мнѣ начинало казаться, что, чутъ ли не съ первыхъ дней вашего прїѣзда сюда, Сара уже обнаруживала какую-то стравную грусть.

Она работала много—ей я поручилъ завѣдываніе аптекой, уходъ за роженицами и разныя фельдшерскія обязанности—работала съ большимъ усердіемъ, во время эпидеміи даже самоотвержено, но, какъ понималъ я это теперь, безъ особенной любви...

Говорила ова мнѣ—и ве разъ,—что чувствуетъ себя удовлетвореною, и что дѣятельность ея ей нравится, во голосъ ея, при этомъ, звучалъ какъ-то ветвердо, глаза смотрѣли уныло, и впечатлѣніе у меня получалось такое, что она не вполнѣ искрѣнн и отъ меня что-то таитъ... Теперь мнѣ казалось, что причину этого увѣнія я зваю.

Во время эпидеміи Сара ежедневно, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, ѿдила на велосипедѣ въ Лэр-

виль, дѣлала въ оба конца двадцать пять километровъ, и ить дорогѣ, кромѣ того, километра полтора подымалась въ гору пѣшкомъ и нела свой велосипедъ.

Тифозныхъ она сажала въ ванны, завертынала въ простыни, переносила ихъ съ мѣста ва мѣсто, вообще, хлопотала около нихъ цѣлые днѣ, иногда остановлалась съ ними и ночью, и все это сильно утомляло ее. Къ концу эпидеміи она едва держалась на ногахъ и не походила на себя... Я принялася ее подкѣплять; прописалъ ей фосфаты, мышьякъ, полусыре мясо, растиранія холодною водой. Всѣ мои указанія она исполняла аккуратно, но сколько инбудь замѣтныхъ результатовъ отъ этого не замѣчалось. Она оставалась по-прежнему худою и блѣдною, и настроеніе у ней было угнетенное. Безсонница не прекращалась. Ова ложилась право и засыпала сразу, но черезъ какой-нибудь часъ просыпалась и потомъ съ боку на бокъ ворочалась до утра. Иногда она истанала, зажигала лампу, подсаживалась къ столу читать, читала часъ, другой, ложилась опять, но раньше разснѣта всетаки не засыпала...

До сихъ поръ я все это объяснялъ переутомленіемъ. Теперь я видѣлъ, что переутомленіе переутомленіемъ, а есть еще и что-то другое...

III.

„Тоска по родинѣ? Nostalgie? Вотъ еще чего не доставало!“—Я пренебрежительно пожималъ плечами.

„Говорять, что всякий вадоръ лѣзеть въ голову отъ беадѣлья. А видно, и чрезмѣрная работа до умныхъ вещей не доводить... Заработкаешься и начинаешь дурѣть... Ну, однако-же, вичего,—выльчимся!. Надо бы только, чтобы не было больше этихъ разговоровъ о Россіи, да сравненій этихъ и параллелей... Ничего, пройдетъ“...

И, обращаясь къ Сарѣ, я говорилъ:

— Зима пролетить незамѣтно, а тамъ, какъ только потеплѣеть, будешь возиться въ огородѣ, будешь сажать картофель, и подкрѣпишься живо... Тогда и повеселѣешь.

Сара вѣ возражала. Но въ глазахъ ея, большихъ и темныхъ, появлялось иногда выраженіе недоумѣнія.—Ты это серьезно?—говорили эти глаза: — ты, въ самомъ дѣлѣ, думаешь, что мнѣ поможетъ картофель?..

Меня выраженіе это смущало, коробило, и даже, когда я о немъ вспоминалъ въ дорогѣ, въ лѣсу или гдѣ-нибудь у больного, мнѣ дѣлалось вѣпріятно. Но я говорилъ себѣ, что все это пустяки, вздоръ, что скоро все само собою уладится, устроиться и войдетъ въ колею...

Но время шло, а улаживаться ничего не улаживалось. Я со сномъ смущеніемъ раздѣлялся совершенно, даже вспоминаль о немъ не иначе, какъ о „нелѣпомъ сантиментѣ“, но у Сары настроение не мѣнялось, и выраженіе унылаго раздумья не сходило съ лица.

— Ты знаешь, — обратилась она какъ-то ко мнѣ: — и въ Мезонсель тоже есть школа.

Я поморщился.

— Отчего жъ бы ей тамъ и не быть? — нехотя отоавался я.

— Въ Мезонсель нѣть и восьмидесяти жителей... — И, немного помолчавъ, Сара прибавила: — нѣть того незначительного поселка, той ничтожной деревушки, гдѣ не было бы школы.

— Много изъ этихъ школъ выносятъ!

— Отчего же? Выносятъ нсетаки... Во всякомъ случаѣ грамотѣ научаются... А видѣлъ ты, какая при здѣшней школѣ библіотека?

Я молчалъ.

— Есть „Pages choisies“ Ренана, есть Луи Бланъ, Мишле, есть довольно порядочная „Энциклопедія для земледѣльцевъ“.

— Даже энциклопедія!.. А, однако, съ тѣхъ порь, какъ мы въ деревнѣ, я еще ни разу не видѣлъ членкѣца за книгой.

— Ты не видѣлъ! Не случилось, и не видѣлъ!..

А библиотека всетаки есть. Захочетъ кто-нибудь читать,—найдеть хорошую книгу.

Оба мы помолчали.

— Порядочные они дикари, эти твои читатели энциклопедій,—сказалъ я, усмѣхаясь:—вонъ въ Ларошѣ собирались провести телефонъ, такъ муниципальные совѣтники взбунтовались: отъ телефона говорять, передохнетъ въ деревнѣ вся птица...

— Какъ ты думаешь,—перебила меня Сара,— сколько въ нашей деревнѣ подписчиковъ на газету? Тридцать два!... На четыреста жителей—тридцать два газетныхъ подписчика.

— Радость какая! Клерикальный „Petit Charente“ читаютъ.

— И радикальный „Avant-garde Républicaine“ тоже... Какъ далекъ русскій мужикъ отъ того, чтобы выписывать газету...

— А Богъ съ нимъ, съ русскимъ мужикомъ!

Разговоръ принималъ уже нежелательный обортъ. Я всталъ, взялъ со стола „Presse Médicale“, потянулся, зѣвнуль и, усаживаясь опять съ ногами на диванъ, добавилъ:

— Онъ за то не далекъ отъ того, чтобы еврею ребра перебить.

Сара вспыхнула, быстро повернулась ко мнѣ, раскрыла ротъ и, видимо, хотѣла возражать. Но я разгладилъ свою „Presse“ и стала вслухъ читать о новомъ способѣ лѣченія раковыхъ опухолей...

IV.

Съ этого дня между мной и Сарой появилось что-то новое; между нами легла какая-то натянутость, какая-то фальшь. Мы говорили о больныхъ, о засѣданіяхъ въ палатѣ депутатовъ, о новой пьесѣ въ „Comédie Française“, и разговоры эти, сами по себѣ вовсе не лишенные интереса, тянулись, однако, вяло, безъ оживленія и носили явный отпечатокъ дѣланности и скуки. Иногда они обрывались на срединѣ и замѣнялись продолжительнымъ, неловкимъ молчаніемъ. Я видѣлъ что Сара уходить въ себя, замыкается и съ каждымъ днемъ становится все грустнѣе, унылѣе. Глядя на нее, проникъ и нашъ Яша, даже дѣвочка Марта, служившая у насъ чѣмъ-то въ родѣ горничной и имѣвшая безконечный репертуаръ какихъ-то особенно наивныхъ пѣсенокъ, тоже присмирѣла, не пѣла и даже, казалось мнѣ, посуду била не такъ звонко, какъ прежде... Весь домъ пропитывался, давящею скучой и смутнымъ беспокойствомъ... Больныхъ, какъ на ало, было теперь немногого, и мнѣ часто приходилось сидѣть дома. Я брался за книгу, затѣялъ статью для медицинскаго журнала и занятія не шли мнѣ въ голову... Бывало, я сижу въ кабинетѣ и работаю, читаю или принимаю больныхъ, затѣмъ хожу изъ угла въ уголъ,

напѣваю, насвистываю или вожусь съ Яшей, а сверху, изъ спальни, гдѣ сидить въ это время Сара, не слышно ни шороха, ни звука.

„Хандрить, думаль я, ноеть... Да чего ей? Это, наконецъ, ни съ чѣмъ не ссобразно!..

И я съ беспокойствомъ думаль о напряженномъ и точно все чего-то выжидающемъ лицѣ Сары, обѣя молчаливости, обѣя ея уныломъ, тихомъ голосѣ,— и такъ мнѣ отъ всего этого дѣлалось тяжело и досадно, что я вскакиваль съ мѣста, звалъ Воймена, моего кучера, приказывалъ ему запрягать лошадь и уѣзжалъ изъ дома безъ всякой надобности.

Чтобы рѣже оставаться дома и чѣмъ-нибудь развлечь себя, я сталъ пріучаться къ охотѣ. Отроду я не держалъ въ рукахъ никакого оружія, а теперь пріобрѣлъ ружье и въ компаніи школьнаго учителя или нотаріуса отправлялся шататься по мокрымъ полямъ или въ лѣсу. Охота меня не занимала, общество учителя, тупого и злобнаго цацюналиста, который не переставалъ ругательски ругать республику и проклинать министерство, не восхищало, — но всетаки чуть ли не каждый день я бралъ свое ружье и „спасался“. Съ охоты я возвращался усталый, памокшій, раздраженный — и безъ всякой добычи. Зайцы и горныхъ козы пробѣгали у меня подъ носомъ, я давалъ промахъ за промахомъ, часто не стрѣляль и совсѣмъ, а компаньоны мои за это на меня сердились и обижались.

лись. Каждый разъ, когда я, имѣсто зайца, попадалъ въ землю, они съ жаромъ принимались меня муштровать, объяснять, какъ [надо цѣлиться и когда ныпускать зарядъ; я говорилъ: „да, да, теперь понимаю, теперь ужъ попаду“ — и опять попадаль нь кусты... Кончилось дѣло тѣмъ, что охота мнѣ наѣвла смертельно, и я свое ружье подарилъ учителю.

— Ah, si seulement je pouvais Fischer une paire de balles dans la gueule de ce sacr  Millerand! — бормоталъ онъ, принимая мой подарокъ и прицѣлинаясь нь стоявшій въ саду орѣховый кустъ...

— Что-жъ это, разочаровался въ охотѣ? — спро-меня въ тотъ же вечеръ Сара.

— Идіотское занятіе, — угрюмо проворчалъ я. Я хотѣлъ добавить, что никогда бы не вздумалъ охотиться, если бы не установилась у насъ дома такая милая жизнь, но удержался...

— Ты этого не читалъ? — спросила, нѣсколько погодя, Сара, протягивая ко мнѣ раскрытую книгу русскаго журнала.

Я бросилъ взглядъ на заглавіе статьи: „Изъ голодныхъ мѣсть“.

— Кажется... видѣлъ... просматриналъ...

— Просматривалъ? — Выраженіе растерянности легло на лицо Сары. — Ну и что-жъ ты объ этомъ скажешь?

— Ничего... интересно.

— Интересно... больше ничего?..

— Ты не знаешь, гдѣ креозотовые капсулы? — спросилъ я спокойнымъ тономъ.

— Постой, успѣшишь, — она положила пальцы на мою протянувшуюся къ аптечному шкафу руку. — Скажи маѣ, Иосифъ, по правдѣ скажи: тебѣ никогда не приходило въ голову, что мы здѣсь не на мѣстѣ?

— Какъ это „не на мѣстѣ“? — спросилъ я съ замыраніемъ сердца.

— Такъ, не на мѣстѣ... Мы здѣсь не на мѣстѣ, никому ненужны. Ты обѣ этомъ никогда не думалъ?

— Нѣтъ, — сказалъ я отчетливо: — я обѣ этомъ никогда не думалъ. И не знаю, почему обѣ этомъ думаешь ты... Поди, спроси монхъ больныхъ, они тебѣ скажутъ, нуженъ я имъ или нѣтъ.

— Твои больные мнѣ скажутъ, что имъ нуженъ докторъ. Но они безъ доктора не будутъ. Брось ты ихъ сегодня, — и черезъ мѣсяцъ у нихъ будетъ другой ирачъ.

— Конечно, будетъ! Я нѣтъ этомъ не сомнѣнаюсь. Что я — иззамѣненный, что ли?.. Президентъ умретъ, и то нѣтъ двадцать четыре часа другого ныберутъ...

— Когда кончалась эпидемія тифа, я сказала тебѣ, что мнѣ кажется страннымъ, зачѣмъ мы здѣсь, —тихо и печально продолжала Сара: — потомъ я обѣ этомъ много думала, и вижу теперь, что это не странно, а прямо нехорошо.

Я стоялъ посреди кабинета, объими руками держался за лацканы пиджака и хмуро поглядывая на Сару.

— Что же тутъ нехорошаго?

— То нехорошо, что мы сидимъ здѣсь, гдѣ легко обойдутся безъ насъ, и не идемъ туда, гдѣ мы могли бы быть нужны.

— Это куда же, напримѣръ?—сильнѣе хмурясь, спросилъ я. И, не давъ Сарѣ отвѣтить, я произнесъ громко, рѣшительно:—Не создавай ты себѣ, пожалуйста, иллюзій, не живи мечтаніями! Я понимаю, о чёмъ ты говоришь... Никому ты тамъ не нужна, и никто тебя туда не просить.

— Развѣ надо, чтобы просили?

— Не только не просять—бѣть, презираютъ, гонять воны! Чего лѣзть?.. Да и не волнуйся,—добавилъ я, понижая голосъ и явственно усмѣхаясь:—Россія и безъ тебя отлично просуществуетъ.

— Всѣ инды тифа, цынга, дизентерія не переводятся,—уныло и какъ бы про себя говорила Сара:—и не въ голодное время процентъ смертности огромный...

— Такъ что же изъ того? Ты можешь и во Франціи такие углы найти... Не Аркадія... Поѣзжай къ савоярамъ, въ Овернь,—всего насмотришься.

Сара внимательно смотрѣла мнѣ въ лицо, а я, вложивъ въ карманы руки и широко отводя ими полы пиджака, нервно расхаживалъ по комнатѣ.

— Видишь ли, Йосифъ,—продолжала Сара:—я твои чувства понимаю... Я и сама ихъ отчасти испытывала... „Быть, презираютъ, говять”—все это такъ, конечно, и именно оттого я въ свое время одобряла твое рѣшеніе поселиться здѣсь.. Но теперь я разобралась, отдала себѣ отчетъ, и вижу, что мы ошиблись... страшно ошиблись... и я говорю теперь, что если бы даже мы были здѣсь вужны, очень нужны, в если бы голодъ и тифъ свирѣпствовалъ здѣсь, а благополучно жилось нѣ русской деревнѣ, меня всетаки тянуло бы къ вей.

— Вотъ какъ!

— Да это же естественно.

— Даже естественно?

— Естественно, разъ люди мнѣ родные.

— Родные?—Я васмѣшилъ задерзуль плечами.—Родные!.. Ну, такъ я же вотъ что тебѣ скажу: очевь, очевь я радъ, что съ этими родными раздѣлся. Очень!

Сара, попрежнему не сводя съ меня глазъ, спокойно проговорила:

— Это неправда.

— Какъ неправда?

— Конечно, вправда.

— Ты что же, въ сердцахъ читаешь, что-ли?

Сара привстала.

— Йосифъ!—какъ-то особенно мягко, задушевно сказала она:—зачѣмъ намъ этотъ тонъ? Зачѣмъ.

эти препирательства? Будемъ искрении, откровенны... Меня здѣсь томить, давить, я всегда неспокойна... Мне кажется, что-то подобное испытываетъ мамка, бросившая своего ребенка и выкармливающая чужого... Я чувствую себя виноватой. И тебѣ здѣсь тоже не хорошо. Не можетъ быть, чтобы ты былъ удовлетворенъ... Отчего ты не хочешь это признать?

— Извини меня, Сара,—сухо сказалъ я:—я долженъ тебѣ признаться, что въ твоемъ характерѣ меня непрѣятно поражаетъ одна странная черга: у тебя какъ-то совсѣмъ отсутствуетъ сознаніе своего человѣческаго достоинства... Тебя тянетъ въ Россію! Но нельзя же по доброй волѣ подставлять лицо, когда въ него плюютъ... „Вернуться“! Но что настъ тамъ ждетъ? Ты забыла? А ты припомни. Только одно то припомни, что тамъ съ твоимъ сыномъ будетъ. Что изъ него тамъ выйдетъ? Здѣсь онъ будетъ учиться, гдѣ захочетъ, чему захочетъ, его способности будутъ развиваться правильно, безпрепятственно, и, можетъ быть, онъ сдѣлается чѣмъ-нибудь выдающимся. Почемъ я знаю? Мальчикъ очень способный... А ныдающимся не будетъ, будетъ просто полноправнымъ гражданиномъ страны... А тамъ? Гдѣ ты его будешь учить? Куда тамъ Янкелю Йоселеву Израильсону сунуться? Тамъ тебѣ по пишеничной части придется его пустить! Факторомъ сдѣлать, старьевщикомъ!

Я стоялъ противъ Сары, скрестивъ на груди руки, и голосъ мой звучалъ рѣзко, убѣжденno. Я доказывалъ, что беспокоиться о русскихъ людяхъ намъ нѣть никакого основанія. Если мы кое-что можемъ сдѣлать, можемъ послужить ближнему, можемъ принести нѣкоторую пользу, то здравый смыслъ и справедливость требуютъ, чтобы служили мы именно Франціи. Здѣсь евреи полноправны. Здѣсь даже съ тѣми евреями, которые прѣѣзжаютъ изъ Россіи, обращаются, какъ съ людьми. Лично я никакого гнета, никакихъ стѣсненій здѣсь не встрѣчалъ, и за все это мы должны питать къ Франціи глубокую признательность... Лишнимъ я считать себя не могу. Я работаю добросовѣстно, сердечно,— это скажутъ всѣ—и я по этому вправѣ быть спокойнымъ. О Россіи же, о возвращеніи туда я не хочу и думать.

— Нельзя мучить себя какимъ-то выдуманнымъ, сочиненнымъ горемъ!..—закончилъ я.

Сара слушала меня внимательно, подперевъ рукою подбородокъ, и, только когда я упомянулъ о сочиненномъ горѣ, она тихо вздохнула и, покачивая головою, вполголоса повторила:

— Сочиненнымъ!...

— Да сочиненнымъ! — съ силой сказалъ я:— фиктивнымъ! Несуществующимъ!.. Нельзя этого! Надо умѣть себя сдерживать... Мало ли какихъ недочетовъ и изъяновъ въ жизни ни бываетъ. У

кого-жъ это она проходитъ совершенно гладко, безъ всякихъ зацѣпокъ?.. Ты знаешь, я совсѣмъ не хотѣть быть медикомъ, и до сихъ поръ жалѣю, что не поступилъ въ Ecole des Mіnes, и, однако-же, ничего! Примирился. Молчу. Живу... и другимъ жизни не отравляю...

— Я отравляю тебѣ жизнь?

Я молча прошелся по комнатѣ, отъ дивана къ окну, и потому уже отвѣтилъ:

— Мнѣ очень непріято говорить тебѣ что-нибудь обидное... но... что же... ты и сама можешь понять, какъ мнѣ весело смотрѣть на тебя... Вады-хаешь, тоскуешь, молчишь...

— „Молчишь“!—Сара горестно усмѣхнулась.— Я скажу тебѣ, отчего я молчу. Виачалъ я молчала оттого, что все ждала, чтобы ты самъ заговорилъ. Я не могла допустить мысли, что ты почувствуешь себя на мѣстѣ... Подсказывать тебѣ, привинать тебѣ мою неудовлетворенность я не хотѣла. Мнѣ нужно было, чтобы ты самъ почувствовалъ эту неудовлетворенность. И скажу тебѣ правду: однажды мнѣ казалось, что ты какъ-то беспокоенъ, и я ужасно этому обрадовалась. Но... я не знаю... я, кажется, ошиблась... Или я ие ошиблась, а ты неискрененъ... Не знаю...

— Я всегда искрененъ.

— Не знаю,—уныло повторила Сара.—А съ нѣкоторыхъ поръ я молчу потому, что ты уклоняешься отъ разговора.

— Отъ такого разговора уклоняюсь, конечно. Зачѣмъ мнѣ такой разговоръ? Чтобы грызаться, говорить другъ другу рѣзкости? Не вижу нѣ этомъ никакой надобности... И скажу тебѣ откровенно: буду очень радъ, если мы къ этой темѣ больше возвращаться не будемъ.

— Можемъ и не возвращаться. Только о чёмъ же мнѣ гонорить, если не о томъ, что меня гложетъ?

— „Гложетъ“!

Я взмахнулъ руками и звонко хлопнула себя по бедрамъ.

— Вотъ то-то же и бѣда! „Гложетъ“!.. Страшные слова, трагическое лицо, глубокомысленное, таинственное молчаніе... Какой-то секретный надзоръ за мной установила, слѣдишь, „безпокоенъ“ я или, не дай Богъ, спокоенъ... А въ домѣ увывіе, тоска, мракъ—точно хоронятъ кого.

— Я себя хороню, Іосифъ! Я свою душу хороню.

Я взглянула на Сару... и такъ горестно отозвалася ея надорванный, чуть слышный голосъ въ моей душе... Но я рѣшилъ быть твердымъ, твердымъ до конца, и, нахмурившись, наставительно произвесь:

— Сдерживай себя! Нельзя изъ-за вздорныхъ сантиментовъ коверкать свою жизнь. Да и не свою только, а еще жизнь ребенка, который даже защищаться не можетъ... Нельзя!.. Э, да что! оставимъ это... Ты не знаешь, где креозотовые капсулы?

V.

Въ смутномъ настроеніи проаель я остатокъ этого дня. Чего я хотѣлъ? Тишины, душеванаго покоя? Но имевно этого имѣть я не могъ... Ни аль чемъ я Сару не убѣдиль, вичего я ей не доказалъ, и асѣ мои глубокомысленные разсужденія—теперь я это понималь отлично—были ей противны. Оаи сильпѣе разъединили насъ и дальше отбрасываали другъ отъ друга.

Меня самого разсужденія мон не удовлетворили.

Часъ тому назадъ, когда, размахиваая руками и морща лобъ, я выразительно, бойко докладывааль Сарѣ, что тамъ изъ ея сына сдѣлаются фактора, что тамъ намъ плюютъ въ лицо, мнѣ казалось, что я правъ, права кругомъ, что я стою ва твердой, неизыблемой почвѣ, откуда меня не сбить. Я даже говорилъ себѣ, что разъ у мевя есть такие сильные аргументы, то мнѣ давнымъ-давно слѣдовало зааести этотъ разговоръ, слѣдовало асе выясвитъ и освѣтить и разогнать хандру Сары... Теперь аргументы мои уже ве казались мнѣ такими сильными.

Я долго сидѣлъ неподвижно, потупиашись, со скрещенными на груди руками и, мыслению продолжая разговаръ съ Сарой, придумывааль все новые и новые аргументы... Но и эти новые аргу-

менты не нравились мнѣ, и на душѣ у меня становилось все тревожнѣе и сумрачнѣе...

Я ходилъ по комнатѣ, хмурился, что-то мурлыкалъ; останавливался, прислушиваясь, — и принимался ходить опять. Я взялся вдругъ поправлять термокотеръ, который былъ испорченъ и плохо дѣйствовалъ, — и въ нѣсколько минутъ исправилъ его такъ, что онъ и совсѣмъ пересталъ дѣйствовать...

Съ часть протолкался я въ своею кабинетѣ, а потомъ, накинувъ на плечи непромокаемую пелерину, кликнулъ свою любимицу, остроухую Миретку, и вышелъ изъ дома.

Была вторая половина января, но погода стояла теплая, тихая. Мелкій дождикъ то переставалъ, то начиналъ сѣять опять. Прозрачные, серебристые пары тихо растигались надъ землей, и сквозь ихъ легкую ткань бурые карре виноградниковъ рисовались особенно мягко, „ватио“, а всходы озимей казались блесковатыми, мутными. На холмахъ, въ лѣсу туманъ былъ гуще, темныя сосны точно курились и вершины ихъ исчезали въ низко нависшихъ облакахъ. Кое-гдѣ, вдоль дороги, тихо звякая колокольчиками, паслись коровы. Вороны чернѣли едва замѣтными пятнышками на блѣдной зелени, и Миретка, вытягиваясь въ прямую линію, съ бѣшеной веселостью гонялась за ними. Испуганные, они отрывались отъ земли, кружили, не-

пріятно каркая въ мутномъ воздухѣ, и потомъ опу-
скались на дорогу опять, но уже дальше, за тем-
ными кустами ежевинки.

Я шелъ, не торопясь, заложивъ руки во внут-
ренне карманы пелерины и мрачно поглядывая на
памокшіе сапоги.

„Не на мѣстѣ,—думалъ я:—тамъ мы нужнѣе...
Тамъ мало врачей. А быль бы я теперь врачъ,
если бы оставался тамъ?“

И я сталъ вспоминать прошлое, сталъ думать
о томъ, какъ меня уволили изъ гимназіи...

— До сихъ поръ васъ не беспокоили,—заявилъ
мнѣ и пяти моимъ одноклассникамъ-евреямъ нашъ
директоръ Егоръ Иванычъ Коврижный, а по гим-
назическому Щука.—Не хотѣли вамъ мѣшать по-
лучить льготу по воинской повинности. Ну, а те-
перь шестиклассное свидѣтельство получайте и
идите съ Богомъ...

Мы всѣ шестеро и пошли съ Богомъ.

Нашъ нѣжный, кроткій мечтатель Коганъ оты-
скать себѣ въ какомъ-то жалкомъ городишкѣ
мѣсто учителя Талмудъ-Торы, и тамъ, подавлен-
ный каждодневнымъ созерцаніемъ мучительного
горя и сознаніемъ своего полнаго бессилія помочь,
скоро испалъ въ помѣшательство,—тихое, но совер-
шенно безнадежное... Майзельсь принялъ лют-
ранство, быль оставленъ нѣ гимназіи, окончилъ
и университетъ... Три остальныхъ тонарища мо-

ихъ разбрелись по разнымъ дырамъ „черты осѣдлости“ и тамъ барахтаются, все больше и больше опошляясь и опускаясь, въ смрадномъ болотѣ ненавистнаго гешефта...

И я продолжалъ углубляться въ прошлое, продолжалъ думать о перевесенномъ „специально-еврейскомъ“ горѣ. Я вспоминалъ, какъ два раза держалъ экстервомъ на аттестовать зрѣлости, какъ по томъ, получивъ аттестовать, не попадь въ процентную норму, какъ въ теченіе почти двухъ лѣтъ бѣгалъ по урокамъ, собирая крохи на отѣздъ въ Парижъ, какъ мучительво голодалъ въ Парижѣ,—нѣ Парижѣ, гдѣ ни урока, ви переписки добыть нельзя, и гдѣ жизнь такъ непомѣрно дорога.

„Сколько унижений, сколько ударовъ!—И теперь Сара поетъ мвѣ что-то такое про „родныхъ“, про Россію... И самъ я тоже кисну и тягусь туда... Глупо это, непроходимо глупо“...

И, энергичнѣе шагая, я говорилъ себѣ, что мы, евреи, и такъ достаточно несчастны,—однимъ тѣмъ, что мы—евреи. А если мы станемъ еще прививать себѣ какую-то тамъ велѣнную сантиментальность, то иамъ лучше всего ваять да удавиться сразу.

Домой я вернулся поздно. Въ деревнѣ уже горѣли огни, и черезъ окна было видно, какъ крестьяне ужинаютъ.—Сару я засталъ въ кабинетѣ. Она что-то писала; Яша жался у ея ногъ и, хныча, жаловался на голодъ.

„Я правъ,—думалъ я, когда мы сидѣли за столомъ и ужинали.—Сара фантазируетъ, нервничаетъ и чудитъ. Можетъ ли жизнъ идти правильно и разумно, если ею управляетъ нервная, болѣзnenная женщина, которая“...

Я остановился, не находя соотвѣтствующаго опредѣленія.

„Которая prend les vessies pour des lanternes... Она соскучилась по своему Павлограду, по Шалинской улицѣ, по рѣчкѣ Волчьеи, куда въ дѣтствѣ бѣгала купаться, и воображаетъ теперь, что ей нужна Россія... Она ие знаетъ, что достаточно ей въ этомъ Павлоградѣ прожить недѣлю, чтобы онъ ей опротивѣлъ и сдѣлался ненавистнымъ... Да, она чудить! И, однако же, со всѣмъ этимъ вадоромъ, съ этими дикими причудами надо считаться и изъ-за этого беспокоиться“.

И мнѣ становилось грустно при мысли, что счи-
таться надо будеть и долго, и сильно...

Сейчасъ послѣ ужина мы разошлись.

Сара, по своей привычкѣ рано ложиться, под-
нялась въ спальню, а я ушелъ въ кабинетъ. У меня
былъ трудный больной, я предполагалъ у него на-
рывъ въ почкахъ; на слѣдующій день долженъ
быть состояться консиліумъ съ докторомъ изъ го-
рода, и я хотѣлъ подготовиться, „посовѣтоваться
съ maître'ами“. Я разложилъ ва столѣ толстое
traité и сталъ читать.

Каби веть мой казался мнъ пустымъ, непривѣтливымъ. По чернымъ стекламъ окна, ва которомъ не было ни зававѣсей, ни ставевъ, хлесталъ дождь и непрѣятно скреблась мертвая лоза винограда. Лампа горѣла съ тихимъ шипѣниемъ, сырья дрова въ каминѣ едва тлѣли; изъ недалекаго хлѣбна доносился ежеминутный кашель простуженной овцы... На сердцѣ у меня было вехорошо, неловко,—и мнъ все казалось, что въ спальнѣ мнъ будетъ удобнѣе. Но и идти туда мнъ какъ-то не хотѣлось... Присидѣвъ надъ книгой больше получаса и не прочитанъ и полустраницы, я забралъ свою лампу и тяжелый томъ и тиховыко поплелся ва верхъ...

— Сара! — вполголоса позвалъ я, войдя въ спальню.

Отвѣта не было.

Я стояль въ замѣшательствѣ, средн комваты, уставившись глазами на кровать, на сѣре одѣяло.

„Она не спить,—думалось мнѣ: только дѣлаетъ видъ, что спить... Ну что-жъ? Tant pis“...

Я устроился у маленькаго столника, у окна и принялъся за чтеніе. Мало-по-малу я втянулся и просидѣлъ до часу. Потомъ закрылъ книгу, занесъ руки за голову и задумался... И вдругъ, стонъ, тихій, сдавленный, протяжный,—и какъ будто очень отдаленный, зазвучалъ у мевя въ ушахъ. Точво въ лѣсу, въ ущельѣ, кого-то душили. Дрожь прошла у меня по спинѣ... Но черезъ мгновеніе я овла-

дѣль собою. Я зналъ уже, въ чёмъ дѣло: стонала Сара. Приподнявшись на кровати, она дикими, остановившимися, полными ужаса глазами смотрѣла на меня и протягивала впередь руки. Абажуръ собиралъ несъ свѣтъ лампы на мой столъ и книгу, а кровать, стоявшая на другомъ концѣ длинной комнаты, едва намѣчалась въ непрозрачномъ тяжеломъ сумракѣ. И, окутанная этимъ сумракомъ, худая и тонкая, съ распущенными волосами, Сара походила на видѣніе.

— Онъ... онъ...—шептала она, глотая воздухъ:— онъ, опять онъ... онъ...

Я уже зналъ, что все это значитъ.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, когда Сара была еще въ низшихъ классахъ гимназіи, въ городкѣ, где она жила, произошелъ погромъ. Лудильная мастерская ея отца и примыкавшая къ ней квартирка въ нѣсколько минутъ были разбиты въ пухъ и прахъ. Вся семья успѣла спастись во-время, но Сара, таскавшая за собою четырехлѣтняго братишку, отстала. Отдѣлившійся отъ толпы громилъ, огромнаго роста босякъ вышибъ изъ ея рукъ мальчугана, а ее самое схватилъ подъ мышки и понесъ на погребицу... Тамъ впотьмахъ онъ остался и упалъ вмѣстѣ съ Сарой. Воспользовавшись этимъ, дѣвочка, вся окровавленная, вскочила на ноги, взбралась на крышу сарайчика и бросилась съ нея внизъ на соѣдній дворъ...

Этого бояка Сара часто—особенно послѣ какихъ-нибудь сильныхъ волненій и огорченій—недѣлить но снѣ. И, когда онъ ей снится, она стонеть мучительнымъ, тяжелымъ стономъ, а потомъ, нѣ теченіе несколькихъ дней, ходить разбитая, растерянная, и лицо у нея дѣлается тупое, напряженное,—такое, какимъ оно бываетъ у эпилептиковъ послѣ сильного припадка.

На этотъ разъ такое состояніе продолжалось у нея больше обыкновенного, и мнѣ это обстоятельство пришлось какъ нельзя болѣе кстати.

— Вотъ, ноть тебѣ привѣтъ изъ Россіи!—торжествующе говорилъ я.—Этотъ боякъ тоже родной тебѣ? Да? Ему ты тоже нужна?

Сара ничего не нозрѣала. Она тупо смотрѣла нѣ сторону, и глаза ея были не темнокоричневые, какъ всегда, а какіе-то сѣрые.

— Нужно страдать какою-то специальною изнращенностью чистоты, какою-то моральною искалѣченностью, чтобы исетаки стремиться къ этимъ „роднымъ“. Да, именно моральной искалѣченностью, моральнымъ уродствомъ!

Взмахивая руками и стараясь придать сноему голосу и лицу выраженіе язвительной ироніи, я продолжалъ:

— Nostalgie! Тоска по родинѣ! Какая у насъ родина? Какая у насъ можетъ быть по ней тоска?

Я зналъ очень хорошо, что теперь Сара нозра-

жать не способна, я зналъ, что бью лежачаго, отъ этого меня коробило, но я говорилъ себѣ, что надо ковать желѣзо, пока оно горячо, и продолжалъ язвить.

VI.

Я продолжалъ язвить и въ слѣдующіе дни. Но, по мѣрѣ того, какъ Сара освобождалась отъ вліянія кошмара, нападки мои становились все слабѣе и рѣже. Они прекратились совсѣмъ, какъ только я замѣтилъ, что Сара достаточно владѣеть собою, чтобы дать мнѣ надлежащій отпоръ.

Къ этому времени мнѣ стало выясняться, что моя язвительность и иронія производятъ на Сару не лучшее впечатлѣніе, чѣмъ и мое глубоко-мысліе... И я притихъ и скпался, и о Россіи не заикался уже ни единимъ словомъ. Сара о ней не говорила тоже,—и опять потянулась у насъ прежняя тягостная и скучная жизнь. Въ отношеніяхъ моихъ съ Сарой, какъ я это предвидѣлъ, появилось еще больше натянутости и фальши. Я какъ-то глупо робѣлъ и, насколько могъ, избѣгалъ ея общества. Такъ какъ Сара ложилась рано, то и поднималась она съ разевѣтомъ. Я же, на-противъ того, засиживался до полуночи, и вставалъ не раньше восьми. За десять лѣтъ нашего супружества я не сумѣлъ привыкнуть къ „кури-

ному" распределенію времени Сары и не переставать изъ-за него воевать съ нею.

— Уже спиши!—недовольнымъ тономъ говорилъ я, когда въ началѣ восьмого глаза Сары начинали смыкаться... Она виновато улыбалась, дѣлала усилия, чтобы превозмочь сонъ и оживиться, но черезъ полчаса глаза ея слипались окончательно, и лицо принимало такой комически-несчастный видъ, что я, смеясь, самъ уже отсыпалъ ей спать...

Теперь я мысленно благодарила Сару за такое распределеніе и спрашивалъ себя, что бы это было, если безконечные зимніе вечера надо было проводить вмѣстѣ?! Даже тѣ полчаса, которые мы за обѣдомъ должны были просидѣть другъ съ другомъ, на противоположныхъ концахъ стола, казались мнѣ томительно длинными временемъ, и, боясь молчанія, я заблаговременно приготавляла темы для разговора: что-нибудь о больныхъ, о выборахъ новаго мэра, о томъ, что жена мясника Мартэнъ бьеть своего мужа и по ночамъ ходить на свиданія къ кюре. Если Сара интересовалась моими рассказами и задавала по ихъ поводу какиенибудь вопросы, мнѣ дѣлалось весело и хорошо, я оживлялся и впадалъ въ болтливость, какъ если бы хватилъ лишнюю рюмку вина. А когда она слушала разсѣянно и невнимательно, мною овладѣвала и оторопь, и досада, я въ замѣшательствѣ заминала разговоръ и, не зная, что дѣ-

лать, начиналъ придраться къ Яшъ,—къ тому, что онъ кладеть на столъ локти, что онъ забрызгалъ супомъ саяфетку...

Спустя нѣкоторое время, я измѣнилъ свое поведеніе. Я сталъ прикидываться, будто считаю, что ничего особеннаго у насть не происходитъ. Случилась заминка, непріятность, мы о ней поговорили, и дѣлу конецъ. Теперь все идетъ, какъ и раньше шло, какъ и должно идти. Я доволенъ и ничего другого мнѣ не надо...

Но эта игра была слишкомъ ужъ неумна, она утомляла меня, и я только сильнѣе запутывался.

Временами во мнѣ закипала глухая вражда, въ душѣ загораяось желаніе объясняться ссориться, упрекать, но все это проходило довольно скоро; я увядалъ, терялся и, пристыженный глубоко грустнымъ лицомъ Сары, начиналъ вдругъ чрезмѣрно суетиться, усиленно о чёмъ-нибудь хлопотать—безъ всякой надобности, безъ видимыхъ причинъ...

Хуже всего было для меня то, что я нигдѣ не видѣлъ для себя опоры—ни во вѣшнихъ обстоятельствахъ, ни въ себѣ самомъ. Если бы я могъ сказать себѣ и теперь—какъ могъ это дѣлать раяльше: „правъ я, а Сара чудить“, я бы всетаки такъ сильно не подавался и не падалъ духомъ. Но сознанія своей правоты у меня не было. Твердую, вполнѣ надежную почву я чувствовалъ подъ собою

только одинъ разъ, въ теченіе только одного часа,— когда заявлялъ Сарѣ, что Яшу придется пустить по „пшеничной части“. Но, однажды подавшись, почва эта расшатывалась все больше и больше, и теперь, съ возрастающимъ смущеніемъ я допытывалъ себя—точно ли я потому сижу здѣсь, что не признаю „родныхъ“, да и правда ли, что я ихъ не признаю?..

Дать на эти вопросы отвѣтъ прямой, ясный я не хотѣлъ или не умѣлъ, или боялся. Но когда мнѣ припоминалось, что такъ еще недавно я говорилъ о какой-то извращенности чувствъ и ironизировалъ надъ *nostalgie*,—я брезгливо хмурился и мысль свою старался перевести на что-нибудь другое..

VII.

Оттепель въ этому году наступила рано, и въ началѣ марта стояла уже настоящая весна. Тёплый вѣтеръ весело шумѣлъ въ оживавшихъ поляхъ, врывался черезъ открытые окна въ домъ, хозяйничалъ тамъ и бушевалъ, хлопалъ дверьми, сбрасывалъ на полъ бумаги. По вебу стремительно носились сверкающія, какъ расплавленное серебро, облачка и то сгущались въ небольшую, но темную, почти черную тучу и разражались быстрымъ и теплымъ дождемъ, то убѣгали совсѣмъ, и тогда солнце свѣтило такъ ласково, дружелюбно... Начи-

иались работы на виноградникахъ и на огородахъ, и я тоже занялся ими: подрѣзаль лозы, цѣплявшіяся по стѣнамъ моего дома, копалъ землю, сажаль лукъ и сѣялъ ранній горохъ. Крестьяне торопились засѣвать овесь. По ихъ мнѣнію, овесь, посѣянный позже марта, плохъ качествомъ, и лошади его не Ѣдятъ. „L'avoine d'Avril est pour le cabril“...

Консультаціи я въ этотъ день давалъ коротень-
кія, небрежныя, и въ обращеніи моемъ съ больными
было что-то сухое, холодное, почти враждебное...

Вообще, въ эту пору я особенной привѣтливости
не ныкался. Я работалъ безъ увлеченія, почти
механически, и мнѣ даже странно было подумать,
что нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я терялъ ап-
петитъ и сонъ отъ каждого даже не очень значи-
тельного осложненія у больного и, наоборотъ, чув-
ствовалъ себя счастливымъ и приходилъ въ уми-
леніе, когда какой-нибудь трудный больной начи-
налъ поправляться...

Мнѣ памятенъ одинъ вечеръ: я возвращаюсь
съ объѣзда домой и всю дорогу думаю о томъ, что
маленькой Марточкѣ Лебранъ лучше, что неврастеничку Жанмеръ больше не мучать дикія видѣнія, что туберкулезнаго Гарнье подкожная вспры-
скиванія арсикодила подкрѣпили до неузнаваемо-
сти—и такъ это все меня радуетъ, такимъ яснымъ
это переполняетъ меня счастьемъ!. Потомъ, при

въѣздѣ въ деревню, я издали замѣчаю кузнеца Тіона, прожигающаго нѣ большой деревянной рамѣ— будущей боровѣ—дыры для зубьевъ,— и новая волна счастья прилинаетъ къ размягченому сердцу. Этотъ Тіонъ умиралъ. Кюрѣ его уже „администрировалъ“, могильщику Жако, въ нишу предстоящаго ему зароботка, въ кабакѣ старого Виара уже открыли кредитъ, но я больного отстоялъ и спасъ. И вотъ, теперь онъ стоять передо мной, крѣпкій и сильный, и съ красивою лонкостью размахиваетъ огромными пудовыми щипцами.

— Ça marche-t-il?—кричу я ему на ходу.

— Mais ça marche à merveille, je vous remercie...
Видите морковку рву!

И, радостно скаля зубы, Тіонъ показываетъ мнѣ свою морковку—до-красна накаленный желѣзный стержень,— и потомъ съ силой нажимаетъ имъ на рейку бороны.

Я останавливаюсь и долго съ любовью и благодарностью смотрю на закончѣлое лицо кузнеца...

Когда я теперь все это припомнить, я испытывалъ не радость, а уныніе, почти досаду, и о Тіонѣ думалъ съ какою-то глухою, возмущавшею меня, но неодолимою непріязнью...

Я видѣлъ теперь, что Сара была права, когда говорила о чувствахъ мамки.—„Цынга... всѣ виды тифа... третья населенія уносятъ“.—Эти слова ея часто звучали въ моей душѣ. И, можетъ быть,

именно оттого, что теперь мы о Россіи не говорили, они беспокоили меня особенно сильно. Если бы начался разговоръ, я опять сталъ бы возражать, сталъ бы спорить, можетъ быть, и раскинялся, и разошелся—и въ самомъ этомъ кипъніи, шумѣ и крикѣ вашелъ бы для себя облегченіе. Теперь же кричать не приходилось... И опять вставалъ во мнѣ параллели и сравженія, я ихъ больше не отгонялъ, въмѣстѣ съ думами о цынгѣ и неперенодящемся тифѣ они дѣлали свое дѣло...

Русскіе журналы я теперь не „просматривалъ“, а читалъ, читалъ внимательно, вдумчиво и не рѣдко съ чувствомъ щемящей боли и тоски...

„Пеллагра распространяется у васъ съ по-разительвою быстротой. Шесть ведѣль тому вазадѣ были отмѣчены ея первыя жертвы, а теперь въ уѣздѣ насчитываютъ уже сотни пеллагроznыхъ. Лѣчевіе, состоящее въ замѣвѣ кукурузовой муки ржаной, даетъ очевь хорошие результаты. Больнымъ, представляющимъ свидѣтельство о бѣдности, выдается ржаная мука, пудъ на мѣсяцъ. До сихъ поръ на этотъ предметъ израсходовано 437 руб. 52 коп. Рѣшено выписать брошюру доктора Лубяевскаго, трактующую о пеллагре и написанную очевь популярно, въ количествѣ пятисотъ экземпляровъ и раздавать ее грамотной части населенія бесплатно“.

Я прочитываю эту корреспонденцию разъ, прочитываю ее два раза...

Я сижу молчаливый, хмурый,—и когда потомъ приходитъ шорникъ Акенъ попросить ва десять су карболки, я почти не отвѣчаю на его поклонъ, смотрю на него изподлобья, — какъ если бы онъ былъ мой врагъ,—и думаю: „у тебя вотъ пеллагры ве будеть“...

Я сержусь ва себя за эти мысли, сержусь и за свое дурное настроение, а всего больше — за тайное чувство виноватости, которое не перестаетъ меня томить — и, чтобы освободиться отъ него, я опять начиваю разжигать въ себѣ злость, начинаю думать о погромахъ, нынореніяхъ и процентныхъ нормахъ,—но дѣйствуетъ это какъ-то слабо, на сердцѣ у меня по-прежнему и сумрачно, и беспокойно...

VIII.

„А всѣхъ этихъ милыхъ вастроеній, вѣроятно, не было бы и въ поминѣ, — подумалъ я какъ-то разъ,—если бы я находился въ положеніи, напримѣръ, Стасевича, и мнѣ вернуться въ Россію было бы невозможно!“..

„Да, конечно!.. Нѣть пути!.. Замурованъ входъ,—или въ Якутскую область ступай... Сидѣли бы тогда смирно, и не мучились “...

Я часто возвращался къ этой мысли... и мину-

тами искренно сожалѣль, что за мной нѣть какихъ иибудь „исторій“,—хотя бы просто отъ солдатчины убѣжалъ, что-ли — и что никакихъ специальныхъ затрудненій при возвращеніи въ Россію я не испрѣчу..

Въ одну изъ такихъ минутъ у меня мелькнуло соображеніе, что вѣдь можно же создать себѣ „затрудненія“... Это поне не такъ трудно...

Замуровывать ходъ въ Россію ужъ слишкомъ радикально,—можно придумать что-нибудь другое. Можно, напримѣръ, прикрѣпить себя здѣсь, на мѣстѣ, можно опутать себя разными нитями такъ, чтобы отъѣздъ отсюда сдѣлался затруднительнымъ, почти невозможнымъ.

„Мы тутъ ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ не связанны,—думалось мнѣ. — Какъ птицы на вѣткѣ, — снялись и улетѣли. Мебелишки, обстановки, и то почти нѣть, и въ двадцать четыре часа могли бы собраться въ дорогу. Эта легкость отъѣзда, во всякомъ случаѣ, не нужна... Все равно, вотъ какъ если дома заряженный ренольверъ лежитъ: въ тяжелую минуту взялъ и бацнулъ себѣ въ лобъ. А нѣть оружія дома—тяжелая минута прошла, и потомъ еще до ста лѣть и жить, и Бога славить будешь“...

И стала у меня назрѣвать нѣкоторый планъ... Сначала онъ казался мнѣ смѣшнымъ, нелѣпымъ, и я занимался имъ больше такъ, для забавы, чтобы отвлечься отъ мрачныхъ настроеній. Но по-

томъ, мало-по-малу, я сталъ съ нимъ сывкаться и стать вѣрить, что, пожалуй, и нѣ самомъ дѣлъ онъ нырчить.

„Дѣло нѣдѣль въ томъ, — принимался я объяснять себѣ: — что логики во всемъ этомъ моемъ беспокойствѣ, aprѣs tout, несетаки нѣть... Я мягокъ, слабъ, я—баба, — и заражаюсь отъ Сары. Я боюсь ссорь, боюсь шума, а нойны безмолвныя меня изводятъ въ конецъ. Не могу ихъ выносить! Я готовъ на всякия уступки, но вѣдь это дѣлу только вредить. И если бы вмѣсто того, чтобы поддаваться Сарѣ, я сумѣлъ подчинить ее себѣ, то миръ у насъ наступилъ бы скорѣе... Да, это вѣрно..."

И я стала приступать къ осуществленію своего плана.

Надо было продѣлать хитрую штуку. Надо было забѣжать самому себѣ за спину, связать собственные локти и накрѣпко приконать себя къ полу.

— Пятнадцатаго апрѣля истекаетъ напѣтъ кнартирный срокъ, — обратился я однажды къ Сарѣ. — Я думаю, что если теперь снять квартиру лѣтъ на пять и заключить письменное условіе, то мосье Буротъ согласится сдѣлать значительный ремонтъ.

Къ удивленію моему, Сара не подняла никакой бури. Она только зорко на меня поглядѣла, покраснѣла слегка, — и отвернулась.

— Дикое у нихъ обыкновеніе строить двухъ-этажные чердаки, — продолжалъ я. — Вотъ этотъ

чердакъ вадо будеть передѣлать въ комнаты...
Намъ нужны еще двѣ комваты, для тебя и для
Яши.

Сара молчала.

— Яша растеть, ему отдельная комната необ-
ходима. Потомъ необходимо облицевать цистерну
цементомъ.

Сара продолжала молчать.

— Садъ хорошо бы обнести рѣшеткою,—настай-
валъ я:—какъ ты думаешь?

— Да.

— Я переговорю съ Буротомъ.

— Переговори.

— Въ воскресенье мнѣ вадо быть въ Римокурѣ.
и тамъ и поговорю съ мосье Буротомъ.

Я постояль нѣкоторое время, ожидая чего-то.
Но ничего ве случилось.

— Да, и съ нимъ поговорю, — повторвль и н
вышелъ изъ комваты.

Въ сущности, все улаживается недурно. Бури
нѣть и отлично. Дикому „да“ Сары и „перего-
вори“, еи молчанію вадо противопоставить — твер-
дость духа и непреклонность. Непреклонность, во-
обще говоря, вещь иеобходимая, — въ особенности
для тѣхъ, кого судьба ве балуетъ и кому все при-
ходится братъ съ бою. Сколько разъ уже страдаль-
и отъ отсутствїи непреклонности. Я могу спроек-
тировать какое-нибудь хорошее дѣло, могу отличво

его обдумать во всѣхъ деталяхъ и начать приводить въ исполненіе, но потомъ, вдругъ станутъ развѣдать меня сомнѣнія, пойдутъ разные колебанія и страхи, и я остановлюсь на полпути. Черта пагубная! И именно ей я обязанъ, между прочимъ, и тѣмъ, что я не инженеръ, а врачъ. Да!. Но надо же, однако, когда-нибудь поучиться быть мужчиной!. И въ концѣ-концовъ Сара и сама нуждается въ твердомъ и рѣшительномъ руководителѣ. Киснетъ она, кисну я, и у обоихъ не жизнь, а сплошная тревога. Надо быть рѣшительнымъ, непреклоннымъ. Вся штука въ этомъ. Сумѣй я это сдѣлать, и Сара сама же потомъ будетъ рада.

Разсужденія эти приводили мнѣ на память Шмилль-Волфа, моего ребе, который, истязая учениковъ, тоже проявлялъ непреклонность и тоже говорилъ, что впослѣдствіи они сами же будутъ довольны,—но отъ приведенія своего плана въ исполненіе я всетаки не отказывался.

И, еще не дождавшись воскресенья, когда я долженъ былъ увидѣться съ мосье Буротомъ, монмъ домовладѣльцемъ, я взялъ и купилъ продававшійся по случаю щегольской и почти совершенно новый кабролетъ.

„Нужно идти прямо, нужно идти рѣшительно!“— подхлестыналъ я себя.

А Сарѣ я объяснилъ, что незачѣмъ лѣтомъ таскать тяжелый фаэтонъ. Кабролетъ въ четыре

раза легче и Бишету не будет утомлять. Править я буду самъ, а Войменъ пусть занимается огородомъ. Если фаэтонъ поберечь, онъ мнѣ двадцать лѣтъ прослужить.

Сара не спорила.

Къ самому факту пріобрѣтенія кабріолета и къ разсужденіямъ по поводу него она отнеслась съ такою же безучастностью, съ какою относилась и къ тому, что я съ метромъ въ рукахъ лазилъ теперь по чердакамъ и сараймъ и, измѣряя ихъ, озабоченно планировалъ, что вотъ здѣсь надо будеть пробить дверь, тамъ поставить простѣнокъ, а лѣстницу перенести туда...

„Да полно, развѣ это будетъ? — мелькало иногда у меня: въ головѣ:—развѣ не вздоръ это, не ребячество?“...

И мнѣ дѣжалось иеловко, досадно, и въ то же время немиожко смѣшино. Мнѣ начинало казаться, что я разыгрываю какой-то плохенький водевиль— и принимаю его за нѣчто серьезное, за настоящую жизнь... Мысль эту я, однако-же, старался всячески отгонять...

Я хмурился, принималъ холодный, важный видъ и съ суровою дѣловитостью начиналъ обсуждать съ Войменомъ, во сколько должна обойтись постройка новой конюшни, и не будетъ-ли выгодно дать Бишетѣ faire un poulain.

— Вамъ бы купить этотъ домикъ, — пріохочи-

валь меня Войменъ: — все бы по своему вкусу и перестроили.

— Я посмотрю,—отвѣчалъ я:—можеть быть, и куплю.

Въ воскресенье я поѣхалъ къ Буроту, а въ четвергъ, рано утромъ, Буротъ, съ двумя каменщиками, пріѣхалъ ко мвѣ. Всѣ четверо мы долго обсуждали, вычисляли, измѣряли, лазвили на крышу, спускались въ цистерну. Я весь выпачкался въ иль и паутинѣ, и, когда былъ въ погребѣ, остылъ и чуть не свалился въ выбоину.

Мосье Буротъ, отставной военный, малевъкій, чистенький, съ розовымъ лицомъ и съ сѣдою раздвоеною бородой старичекъ, любезный и сладкій, какъ могутъ быть сладки французы, когда они этого хотятъ,—въ вопросахъ дѣловыхъ оказался, однако, довольно прижимистымъ. Ремонть онъ соглашался сдѣлать, но потребовалъ условіе на шесть лѣтъ и квартирную плату повысить на цѣлыхъ триста франковъ въ годъ. Это было много, и я долго спорилъ и не соглашался, но въ концѣ концовъ долженъ былъ уступить.

Когда все было улажено, у насъ вдругъ возникъ новый торгъ—изъ-за решетки вокругъ сада. Мосье Буротъ говорилъ, что решетка обойдется слишкомъ дорого, и соглашался только на проволочную сѣтку. Я же решетку требовалъ съ та-

къмъ азартомъ, какъ будто безъ вея вся моя жизнъ будеть испорчена навсегда. И, добиваясь ея, я въ сущности хотѣль, чтобы Буротъ ве сдался. Этотъ шумный торгъ заглушалъ чувство неловкости и стыда, тѣсвившее мою грудь, и отдалялъ минуту, когда Буротъ уйдетъ въ мнѣ вужво будеть оставаться съ Сарой съ глазу ва глазъ...

— Вы заставите мевя отказаться отъ вашей квартиры совсѣмъ,—угрожалъ я: — я найду домъ вотаріуса.

— Какъ угодво.

И, обратившись къ Сарѣ — ова въ эту минуту вошла въ кабинетъ за тетрадкамъ Яши, — Буротъ склонилъ на бокъ свою розовую лысину и сказалъ: — Madame, vous allez avoir un petit boudoir comme Madame Loubet n'en a pas dans son Elysée.

Сара поблагодарила.

— Oui, je m'en charge,—подтвердилъ старичикъ и вздохнулъ.

Цѣлый часъ еще бился я съ упорнымъ любезникомъ и рѣшетки всетаки не получилъ. Приходилось сдаваться.

Мосѣе Буротъ выпилъ двѣ рюмки малаги, закусилъ бисквитомъ и ушелъ, вмѣстѣ со свовми каменщиками. И пока овъ спускался съ крыльца и пересѣкалъ улвцу, я стоялъ посреди комваты, слѣдилъ глазами за развѣвавшимися рукавами его крылаткъ и растерявшио спрашивалъ себя:

„Такъ что же это такое?.. Такъ какъ же?.. Дѣло, звачить, сдѣлаво? Слажено?“

Что-то твердое въ жесткое стало подыматься у меня въ груди. Горько мнѣ сдѣлалось, горько и стыдно, — страшно стыдно... И если бы я вѣ сдерживалъ себя, то, кажется, взялъ бы, подсѣль къ столу, подперь голову руками и заплакалъ...

„Зачѣмъ все это такъ глупо выходить? Глупо, безобразно, пошло... Откуда это все? Для чего?“...

Я продолжалъ стоять неподвижно, и во всемъ тѣлѣ, во всѣхъ членахъ ощущалъ сильную, неодолимую усталость.

„Непреклонность, рѣшительность“...

Я горестно усмѣхнулся и обѣими руками сдѣлалъ такой жестъ, какъ я бы стряхивалъ съ нихъ что-то клейкое...

Потомъ я вышелъ въ конюшню, кликнулъ Воймана и приказалъ ему подать лошадь.

Надо былоѣхать въ Трампо, къ болынью, за пятнадцать километровъ. Но уѣзжать мнѣ не хотѣлось. Меня, — странное дѣло, — меня стало тянуть къ Сарѣ... Я Сары стыдился, я ея боялся, и отъ одной только мысли, что вотъ сейчасъ она можетъ войти, и взгляды наши встрѣтятся, мнѣ дѣлалось жутко,—и исстаки меня къ ней*тянуло, тянуло неудержимо... Такъ бывало въ дѣствѣ: мать меня побѣть и прогонить, а я, весь въ слезахъ, сгорая отъ стыда и не смѣя поднять глазъ,

приниженный, убитый, неотступно за ней плетусь, боюсь, дрожу, но отойти не могу, и все жмусь къ ней и жду—ноной казни? прощенья? ласки?..

Я долго собирался въ дорогу. Я долго и медленно одѣвался,—а, одѣвшись, долго и медленно укладывалъ свою дорожную аптечку...

Изъ спальни доносился до меня голосъ Яши. Мальчикъ своими словами и, по обыкновенію, на половину по французски разсказывалъ басню „Кнартеть“. Я сталъ прислушиваться къ его разсказу и къ голосу Сары, поправлявшей мальчика... И, не сознавая толкомъ, чего я хочу и зачѣмъ это дѣлаю, я сталъ подыматься въ спальню...

— Погода чудесная,—сказалъ я, останавливаясь на порогѣ и глядя себѣ подъ ноги. — Сарушка... Не пойдешь ли со мной?

Сара посмотрѣла на меня, потомъ въ окно, на небо, потомъ опять на меня, минуту подумала и согласилась.

„Слава Богу!“—съ облегченiemъ подумалъ я.

И какъ минуту тому нааадѣ я не зналъ, зачѣмъ я сюда иду и что скажу Сарѣ, такъ теперь я не зналъ, чему я радуюсь, и только беззвучно повторялъ: „слава Богу, слава Богу“.

IX.

Въ Трампо меня звали къ одной бабѣ, которую наканунѣ помяль быкъ. Три ребра у нея оказались

переломанными, кожа и мышцы истерзанными, а левое легкое было продрано въ двухъ мѣстахъ. Пришлось накладывать на торсъ широкій поясъ изъ липкаго пластыря. Такъ какъ бокъ и спина у бабы были сильно изранены и отъ каждого прикосновенія къ ней она кричала и громко крахтѣла, то задача моя оказалась особенно трудной. Сара мнѣ помогала. Она наряжала изъ старой простыни бинты, ставила банки, массировала контуженный мѣста. Работа расшевелила ее, голосъ ея сдѣлался звонче и въ глазахъ появился блескъ.

„Она могла бы быть счастливой,—тоскливо подумалъ я:—но я ей помѣха“.

Часа черезъ два перевязка была сдѣлана. Мы съ Сарой осмотрѣли еще двухъ больныхъ,—одного туберкулезнаго, другого съ зобомъ, напились молока и поѣхали домой.

Былъ пятый часъ. Отъ пахавшихъ людей и отъ лошадей ложились длинныя тѣни. Поли направо тянулись далеко, плоская, ровная, ничѣмъ не стѣсненная. По лѣвую сторону они опирались въ откосы, не очень высокіе, но длинные, густо заросшие соснами и дубомъ. Впереди, на горизонти, въ концѣ дороги, прямой и ровной, какъ струна, среди темныхъ садовъ чуть замѣтно бѣлѣли Лѣрвильскіе дома, и между ними, высоко къ небу, узкой синеватой полоской подымалась колокольня. Я все смотрѣль впередъ, на эту колокольню, ио видѣль не

ее, а черво-багровый, истерзанный человѣческій бокъ; и мнѣ думалось при этомъ, что вотъ, какъ измѣять и изуродованъ этотъ бокъ, такъ изуродована и обезображенна жизнь Сары...

„Жизнь Сары?—А моя“?

Когда мы были уже по другую сторону Лэрвилля, Сара обернулась ко мнѣ лицомъ и спросила:

— Что же, Іосифъ, кончили ты съ Буротомъ?

Къ удивленію моему, этотъ вопросъ я встрѣтилъ безъ искаского иепріятнаго чувства.

— Кончили,—отвѣтилъ я.

И въ моемъ тоиѣ ие слышно было ии растерянности, ни раздраженія, ии желанія замять разговоръ. Я былъ спокоенъ, довѣрчиво и съ любопытствомъ ожидалъ, что скажетъ Сара, и это мнѣ самому казалось стравынмъ.

— Такъ, значитъ, рѣшено, мы остаемся здѣсь?

— Это, Сара, ие теперь рѣшалось.. Allez, Bichette!—Я ударилъ лошадь иожжей.—Этотъ вопросъ мы обсуждали въ Парижѣ, прежде чѣмъ сюда прїѣхали.

Сара потупилась.

— Вотъ что, Іосифъ!—иачала ова минуту спустя:—иадо всетаки иамъ объясниться. Ты этихъ разговоровъ ие хочешь, ты ихъ прямо запретилъ, и я иотъ сколько уже иремени молчу—исе иошу иль себѣ... Но вѣчно вѣдь это продолжаться ие можетъ...

— Я „запретилъ разгоноры?“—перебилъ я.— Какъ это я могу запретить?.. Я ничего не запрещаю.

Сара окинула меня испытующимъ взглядомъ.

— Ну, хорошо, пустъ... Я теперь повторю то, что уже говорила: я не понимаю, съ какой стати мы здѣсь... Я не могу себѣ это простить и ве могу съ этимъ помириться. Не могу!

Сара вдругъ сильно заволновалась и на щекахъ ея, подъ висками, выступило два красныхъ пятна.

— Ты не понимаешь, съ какой стати мы здѣсь,— мягко сказалъ я:—а я ве понимаю, съ какой стати мы должныѣхать ить Россію... Allez, allez, Bichette, allez... Ты хочешь объясниться—отлично! Я тоже этого хочу. И я скажу тебѣ откровенно: я много думалъ о твоемъ стремлениі въ Россію и понять его всетаки не могу. Между прочимъ, хотя бы нотъ почему: вѣдь ты знаешь, что могло бы случиться, если бы мы туда побѣхали? Знаешь, какую штуку можетъ съ нами сыграть судьба?

Я смотрѣль на вспотѣвшую спину лошади, и снисходительная ироническая улыбка играла у мевя на лицѣ.

— Ну вотъ, представь ты себѣ такое положеніе: прїѣхали мы съ тобой, положимъ, въ голодные мѣста, въ деревню; прїѣхали и стали работать,—со всей горячностью; со всей любопытствомъ... И

вотъ, нѣ однѣ прекрасный день, эти же самые мужички, для которыхъ мы работаемъ, возьмутъ и устроятъ нѣли-ко-лѣпнѣйшій погромъ, и нась же съ тобой изобьють...

— Ну такъ что-жъ?—строго спросила Сара.—И изобьють... „Изобьють, потащутъ на погребицу“...—у тебя это какіе-то arguments supremes. Считаться съ этимъ нельзя: мало ли что люди дѣлаютъ со слѣпцами...

Въ голосѣ Сары звучали горячія, скорбныя ноты, и ноты эти шли мнѣ прямо въ сердце.

— „Со слѣпцу“,—процѣдила я:—моимъ ребрамъ не все ли ранно, слѣпой ихъ перебѣть или арячай... И потомъ я ногъ еще что скажу тебѣ: не одни слѣпцы на насъ обрушиваются. Намъ и отъ культурныхъ слоенъ достается тоже. А симпатіи, или хотя бы просто состраданія къ намъ не выказываютъ никто.

— Это неправда! Состраданіе есть. А если оно выражается не такъ ярко, какъ хотѣлось бы, такъ что же? Время теперь такое. Оно не для насъ однихъ мрачно... Эту ошибку, или, если хочешь, эту несправедливость дѣлаютъ многіе изъ насъ: плачутся на горестное положеніе евреевъ, и при этомъ совершенно забываютъ объ общемъ ходѣ вещей, объ общемъ строѣ исей жизни... Стонуть нѣ „черть“! А ты изъ черты ныгняни. Тамъ что дѣляется! Такое время... Но только... Ахъ, Іосифъ...—и другъ оборвала себя Сара и быстрымъ движеніемъ от-

стегнула вороть пелерины.—Да нѣдь это не разговоры побочные, и мы совсѣмъ не то гоноримъ, что нужно... Я подойду къ дѣлу прямо и скажу теперь все. Ты воображаешь—или, можетъ быть, только стараешься воображать—кто тебя разбереть!—ты воображаешь, что ты и тутъ нуженъ, что ты и тутъ служишь ближнему. Но такъ служить, какъ ты, служить ему и лавочница Птижанъ: ей дадуть двѣнадцать су, и она отпустить фунтъ сахару. Это не служба, это—торговля... Ты твердишь, что радъ, что „раздѣлался съ родными“. Я знаю, что это неправда, но мы это оставимъ, и я вотъ о чёмъ тебя спрошу: отчего же ты бросилъ своихъ кровныхъ? Евреевъ отчего ты оставилъ? Отчего ты къ нимъ не идешь?

Сара смотрѣла на меня нѣ упоръ, и въ сверкающихъ ея глазахъ, и въ дрожавшемъ голосѣ было выраженіе негодованія и брезглиного гвѣза. Во всяко другое время это выраженіе испугало бы меня, оскорбило, нозмутило. Теперь оно вызывало но мнѣ чувство, близкое къ радости. Это выраженіе было мнѣ союзникомъ. Оно помогало мнѣ, помогало побѣдить себя, помогало разбить и отбросить прочь ту крѣпкую, уже сильно иадтреснутую, но все еще державшуюся кору, въ которую, какъ ядро въ скорлупу, заключена была моя душа...

Мнѣ казалось, что разрѣшеніе идетъ, что оно близко, и что скоро я освобожусь—с совсѣмъ, окон-

чательно—и отъ жалкаго нытья, и отъ недѣлъныхъ дрянныхъ поступковъ...

— Что-жъ ты молчишь?—сильнѣе волнуясь, продолжала Сара.—Я спрашиваю тебя: отчего ты не идешь въ „черту“? Ты чуть-ли не роль какого-то мстителя за евреевъ берешь на себя, а сидишь здѣсь и пальцемъ о палецъ для нихъ не ударишь. Въ Россіи евреи-земледѣльцы теперь голодаютъ, у нихъ цынга и голодный тифъ,—отчего-же ты къ нимъ ие идешь? отчего?.. А, ты все молчишь!—съ какимъ-то горькимъ торжествомъ искрикнула Сара.—Ты молчишь! Ну, такъ я за тебя отнѣчу. Ты оттого къ нимъ не идешь и оттого сидишь здѣсь, что это тебѣ удобно! Тебѣ! Тебѣ надо поспокойнѣе устроить свою собственную особу. Да, только это! Ничего, кромѣ усиленныхъ заботъ о своихъ ребрахъ у тебя нѣть... Тебѣ здѣсь спокойно, тебѣ въ физіономію не плюютъ, тебя на „погребницу“ не тащутъ, тебя спеціальные правила и узаконенія не даніять, твой сынъ будетъ свободнымъ гражданиномъ свободной страны... Тебѣ хорошо, ты удовлетворенъ... А тамъ дома...

Голосъ Сары оборвался.

— Боже мой! Боже мой!—вырвалось у нея чрезъ минуту.—Сижу здѣсь, въ сторонѣ, за тысячи верстъ отъ всего, что тамъ дѣлается, и сынъ мой ни борьбы той, ни тѣхъ страданій никогда не узнаетъ!

Сара поникла головой и отвернулась.

Мы проезжали мимо мельницы. Старое здание съ высокой крышей почти все закрыто было ивами и тополями. Во дворѣ, на берегу узевькой, аршиава въ два, рѣченки стоялъ огромный возъ, и люди, обсыпанные бѣлымъ, нагружали его тяжелыми кулями. Три толстяя лошади, запряженныя цугомъ, стояли дельтой и, звякая бубенчиками, щипали свѣтлую травку. Моя Bichette свернула было и направилась къ нимъ, но я натянулъ вожжи, прикрикнулъ, и лошадка покорно попала, куда надо.

„И меня тоже нужно нести, — подумалъ я: — иначе Богъ знаетъ куда забрести могу“...

И вдругъ явилось у меня желаніе ваять руки Сары и припасть къ нимъ губами. Но сдѣлать это я какъ-то не рѣшился. Я иеловко завозился на короткомъ сидѣніи кабролета, потомъ нагнулся и стала заботливо оправлять покрывавшій мои ноги коврикъ.

Километра три мы проѣхали молча. Извѣстного выступа горы стала медленно выползать наша деревня.

— Такъ чего же собственно ты бы хотѣла? — тихо спросилъ я.

— Чего-бы я хотѣла? Да ты это знаешь... — Голосъ Сары былъ строгій, звонкій, но въ то же время въ немъ слышалась и явная усталость. Убѣ-

дить меня она, повидимому, уже не надѣялась и продолжать разговоръ считала безполезнымъ.

— У насть въ Россіи есть дѣло, есть посты на всю жизнъ—и мы должны его занять.

— То-есть мы должны пойти служить мужику?— задумчиво проговорилъ я.

— Мужику, еврею—это все равно. У мужика и у еврея интересы общіе. Что бы тамъ ни говорили, а наша судьба тѣсно переплетена съ судьбой русскаго народа: когда весчастнѣе онъ — болынѣе дѣлается и намъ; если солнечный лучъ упадетъ на него — пригрѣть и насть... Когда не будетъ въ Россіи голодовокъ, не будетъ переселенцевъ, когда вдвое уменьшится процентъ смертности, а процентъ неграмотныхъ будетъ не восемьдесятъ, а восемь, два, одинъ, — хорошо будетъ и намъ.

— Не знаю,—тихо проговорилъ я неопределенымъ тономъ.

— Придетъ время, когда весь свѣтъ солнца и вся его теплота прольются на Россію,—и тогда ковецъ будетъ и нашимъ страданіямъ. Еврейскій вопросъ разрѣшится самъ собою и упразднится навсегда.

Сара помолчала.

— Впрочемъ, что-жъ!—прибавила она и вздохнула.— Тебя, мнѣ кажется, вовсе не это интересуетъ...

Солнце нижнимъ краемъ своимъ уже коснулось земли. Потянуль вѣтерокъ и затрепетали, загонорили тонкія вѣтви ивь надъ рѣченкой. Сара обтянула полы пелеринки и застегнула воротникъ. Глаза ея, прекрасные, большиe, устремлены были на горизонтъ, затянутый таинственными лиловыми тонами, и, казалось мнѣ, что-то тамъ высматривали и искали...

X.

Черезъ четверть часа мы подъѣзжали къ дому.

Миретка, издали завидѣвъ свою пріятельницу Bichette, съ радостнымъ лаемъ бросилась къ ней навстрѣчу. Войменъ и Яша стояли у воротъ и поджидали насть. Подлѣ дома я соскочилъ съ кабріолета и, отданъ вожжи Воймену, изошель на крыльцо.

— Monsieur Bourotte est venu, monsieur Bourotte est venu! — весело запѣль Яша, прыгая на правой ногѣ, а лѣвую поддерживая руками.

— Надо, Яша, исегда говорить по-русски, — внушительно сказалъ я: — чего хотѣмъ monsieur Bourotte?

Яша удивленно посмотрѣлъ мнѣ въ лицо и сейчасъ же затараторилъ опять:

— Monsieur Bourotte a dit... Мосье Буротъ сказалъ... qu'il a r  f  chi... онъ перемыслилъ... и онъ согласенъ, il veut bien поставить въ саду рѣшетку, а не... вотъ это вотъ, какъ это называется...

Яша въ замѣшательствѣ кривилъ рожицу и нетерпѣливо чмокалъ языкомъ.

— Что на телеграфѣ! — выпалилъ онъ, наконецъ.—
Pas un fil de fer.

— Очень хорошо!

Я ласково отстранилъ мальчика и, не торопясь, стала подыматься въ спальню.

Тамъ я сняла съ себя пальто, отстегнула манжеты, постанилъ ихъ на комодъ и опустился на край кушетки.

„Ну, а теперь что?“ — спросила я себя.

Отвѣта не было.

Нѣсколько минутъ прошло, и ни одна мысль не зарождалась въ моей головѣ. Въ душѣ было тихо, — тихо, спокойно, хорошо, а физичекое ощущеніе было такое, какъ если-бы я долгое время таскалъ на себѣ тяжелую ношу и теперь вдругъ отбросилъ ее прочь...

До сихъ поръ предо мной стояла тьма, — и въ этой тьмѣ я не видѣлъ никакого выхода. Для чего работать? Гдѣ цѣль? Что можно сдѣлать?.. Въ памяти вставалъ несчастный образъ „ни за что“ погибшаго Когана, и я говорилъ себѣ, что что-нибудь въ этомъ родѣ ждетъ и меня. Сбитый оь пути, испуганный, растерявшійся, безъ Бога въ душѣ, я опустился, отошелъ къ сторонкѣ и хлопочу уже только о томъ, чтобы меня не били... Да, Сара права: я весь ушелъ въ „обереганіе сво-

ихъ реберь". „Свободный, полноправный гражда-
нинъ свободной страны",—выше этого перешли-
ныя крылья уже не поднимаются... Отъ несчастій
своего народа я малодушно отворачиваю глаза, не
хочу о нихъ и думать и, насилия сердце, ста-
раюсь отречься отъ „родныхъ". Ахъ, къ чему это
все! Вѣдь есть же выходъ!

Я всталъ, прошелся по комнатѣ и остановился
у окна.

Тихая, длительная дрожь прошла у меня по
тѣлу...

Я смотрѣлъ въ садъ,—какъ смотрѣлъ иъ него
четыре мѣсяца назадъ, когда Сара впервые заго-
ворила о странности нашего положенія. Садъ былъ
голь и сумраченъ, виднѣвшіяся за нимъ поля
тоже были сумрачны и черны, какъ зимой. Но
что зимѣ—конецъ, что дни холода и окоченѣнія
прошли, что настаетъ пора обновленія и свѣта,—
чувствовалось во всемъ,—и въ этой бурой землѣ,
и въ темныхъ деревьяхъ, и въ небѣ, блескова-
томъ, кроткомъ, весеннемъ. И я зналъ, что дни
холода и мрака прошли и для меня, и что про-
исходившій во мнѣ страшный процессъ духовнаго
смертиенія пресѣченъ...

Тихо, безшумно, какъ-бы боясь помышлять тому
необыкновенному, ионому, что широкой полной
вливалось въ мою душу, я отошелъ отъ окна и
спустился иѣ кабинетъ...

На дананъ сидѣль Яша и, крѣпко сжанъ Миретку колѣями, нылѣталь ей аѣ ошейникъ пучки одуаанчиковъ. Сара стояла у стѣны, и глаза ея были устремлеены на мальчика. Что за лицо было у иеи!..

Даа года тому назадъ Яша былъ боленъ и быть аѣ опасности. Въ особенности страшила была одна иочь, когда мы съ минуты на минуту ждали конца. Хлопоталъ около больного я, а Сара сидѣла у кроати, иеподаижная, окаменѣвшая и не садила съ ребенка глазъ. Она прощалась съ иимъ... И аотъ теперь на лицѣ ея опять было то же самое иепредааемое слоаами выраженіе, которон искажало его и въ ту памятную мнѣ, страшную ночь.

— Что съ тобой, Сара?

Сара аздрогнула, подняла голоау—и напраинлась ко мнѣ.

— Іосифъ,—глухимъ, обрывающимся голосомъ проговарила она.—Не могу... Не нѣ силахъ... Якона ты мнѣ не дашь, я зиаю, и я одиа... Я убажаю одна...

Я смотрѣль на Сару съ испугомъ и какъ-то не сразу улонилъ смыслъ ея слоа...

— Родная моя,—гоаорилъ я черезъ минуту, захлебыааясь и протигиаан апередъ руки.

Я, кажется, улыбался и слезы текли у меня по лицу...

— Хорошая моя! Да не одна, а исѣ... И къ той

борьбѣ, и къ тѣмъ страданіямъ, всѣ трое туда поѣдемъ, всѣ...

Въ Парижѣ и въ Нанси, въ Ecole de Médecine, вывѣшены объявленія о томъ, что деревня, гдѣ я живу, приглашаетъ врача. Я обѣщалъ мэру пробыть здѣсь еще мѣсяцъ, пока найдется врачъ. „Мебелишка“ наша назначена въ продажу, а для кабролета, который я купилъ двѣ недѣли тому назадъ, уже нашелся покупатель,—нотаріусъ.

Москѣ Буротъ пріѣжалъ для подписанія условія и привезъ два толстыхъ альбома съ образчиками обоевъ. Онъ долго не вѣрилъ, когда я, изниняясь, объявилъ ему, что уѣжаю въ Россію. Онъ вообразилъ, что я пускаюсь на „truc“, съ цѣлью выторговать у него новыя уступки... Уѣдинившись, наконецъ, что я говорю правду, онъ ныразилъ сожалѣніе, что теряетъ такихъ хорошихъ жильцовъ, и сталъ прицѣниваться къ моему письменному столу. Онъ по-прежнему любезенъ и галантенъ, но внутренно кипитъ и, навѣрно, говорить о настѣ: „les sales russes“...

Сара смотритъ теперь какъ будто еще серьезнѣе и строже, чѣмъ раньше. Но мнѣ ясно, что она счастлива... Что касается меня, то я продолжаю чувствовать въ сноей душѣ весну и расцвѣтъ... Я долженъ, однако-же, сознаться, что въ сердцѣ моемъ,—когда Яша въ радостномъ возбуж-

деніи, тыча себя въ грудь пальцемъ, шумливо до-
кладывалъ мосье Буроту: „nous allons rentrer dans
notre pays à nous! à nous!“—что иъ сердцѣ моемъ,
въ эту минуту, шевелилась ненольная жалость, и
я не могъ не думать:—бѣдный мой, бѣдный!..

Р А Б Ъ.

РАЗОКАЗЪ.

Натурщикъ, здоровенай итальянецъ, съ бычьеи шеей и глазами идюта, спрыгнулъ съ подставки, сняль съ себя пышную, подбитую горностаемъ порфиру и сталъ разминать члены. За четыре часа позиронанья они у него порядкомъ отекли и онѣмѣли. Раза дна онъ перегнулся направо, потомъ нальво, потомъ стала ныпрамлять ноги.

— Зантра сеанса не будетъ,—пробормоталъ Сойферъ, съ сумрачнымъ индомъ поглядывая на свою картину.—Можете не приходить.

Натурщикъ несено ухмыльнулся. Плату онъ получалъ не за каждый сеансъ нѣ отдѣльности, а помѣсячно, и потому пропуску быть радъ.

— Послѣ завтра, значитъ?—оснѣдомился онъ.

Сойферъ не отвѣчалъ.

— Значить, послѣ завтра?.. Въ полонинѣ второго? Толстый итальянецъnidѣль, что Сойферъ се-

годня нервничает и раздражается, и у него явилась догадка, что художникъ неадоронъ, и что онъ, пожалуй, захочеть предоставить себѣ нѣсколько дней отдыха.

— Я приду послѣ завтра,— насторожившись, заявилъ итальянецъ.

— Не нужно,—тихо отвѣтилъ Сойферъ.—Скорѣй ужъ въ понедѣльникъ... Я вамъ напишу...

Натурщикъ торопливо надѣлъ свою плисовую куртку, завязалъ на шеѣ косынку въ ушель. А Сойферъ, отложивъ въ сторону палитру и кисти, съ видомъ утомленнаго и недовольнаго человѣка, опустился въ кресло.

Сегодня передъ сеансомъ приходилъ къ нему Гумиловичъ, совсѣмъ еще юный скульпторъ, на дніяхъ только прїѣхавшій изъ Рима изъ небольшого галицкаго мѣстечка. Молодой человѣкъ этотъ долго и внимательно разсмотринялъ находившіяся въ мастерской работы. И когда онъ пересмотрѣлъ ихъ всѣ, на лицѣ его изобразилось какое-то странное недоумѣніе.

— У васъ, значитъ, совсѣмъ нѣть квартиръ изъ еврейской жизни?—спросилъ онъ.

Сойферъ нахмурился.

— Нѣть... Теперь нѣть...

— Можетъ быть, есть что-нибудь данишие... старое... какіе-нибудь наброски?

— Я вамъ показаю все, что можно было,—хо-

лодно отвѣтилъ Сойферъ.—Даже больше, чѣмъ можно было... Ничего больше нѣтъ...

Гумплоничъ промолчалъ.

Для приличія онъ перевернулъ иѣсколько страницъ большого парусиноваго альбома, который держалъ на колѣняхъ, потомъ всталъ и взялся за шляпу.

— А, нпрочемъ, подождите,—съ едва замѣтвой улыбкой сказалъ Сойферъ.—Вотъ еще кое-что... моя послѣдняя работа.

Онъ пошелъ въ уголь мастерской и, отставивъ къ стѣнѣ иѣсколько папокъ, опираясь на ноги тяжелаго орѣхового мольберта, выкатилъ на средину комнаты большое и почти квадратное полотно.

— Вотъ, смотрите...

Гумпловичъ бросилъ взглядъ на картину, и тотчасъ же глаза его, мгновенно наполнившися и печалью, и изумленіемъ, перешли на стараго художника.

— Филиппъ Войнаръ?—спросилъ онъ.

Въ голосѣ его было что-то такое, отчего Сойферъ почувствовалъ инезавное смущеніе.

— Да, Филиппъ Войнаръ.

Минуты двѣ Гумплоничъ стоялъ молча. И смотрѣть онъ не на картину, а низъ, на полированыя ноги мольберта.

— Извините меня,—началъ онъ потомъ, слегка

насупившись.—Извините мою съѣлость... Но... меня удивляетъ, что вы пишете эту картину.

Сойфера передернуло.

— Что такое?

Онъ смотрѣть на молодого человѣка въ упоръ, и въ глазахъ его засверкала холодная алоба.

— Я говорю: меня удивляетъ, что вы пишете портретъ Войнара.

— Вотъ какъ!.. Это почему-же?

— Полагаю, что вы и сами знаете почему, — сдержанно отвѣтилъ Гумиловичъ.

— Я ничего не знаю.

Гумиловичъ нахмурился сильнѣе, и щеки его вдругъ покрылись краской.

— Не знаете?... Объяснять надо?...

— Пожалуйста, объясните.

— Войнаръ — нашъ врагъ, нашъ мучитель, вотъ и объясненіе, — рѣзко отчеканилъ Гумиловичъ.—Я этого человѣка знаю очень хорошо: мѣстечко, гдѣ я жилъ, лежитъ совсѣмъ близко отъ области, которую управляетъ этотъ магнатъ. И я знаю,—какъ и всѣ это знаютъ, — что Войнаръ тиранить все населеніе страны — и венгровъ, и чехонъ, и нѣмцевъ, а больше, чѣмъ всѣмъ, достается намъ... Вы тоже отлично знаете, сколько этотъ нарнаръ выпилъ еврейской крови... И я думаю, что художникъ-еврей не долженъ его писать. Не долженъ!—съ горячностью повторилъ Гумиловичъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ слава Сойфера стала меркнуть.

Потому ли, что талантъ его дѣйствительно пріѣхѣлъ въ упадокъ, потому ли, что не было больше тѣхъ счастливыхъ случайностей, отъ которыхъ такъ много зависѣть успѣхъ каждого живописца, — трудно сказать. Но такъ или иначе, а о человѣкѣ, въ свое время приковывавшемъ къ себѣ общее вниманіе, стали повсюду забывать. Самолюбіе художника было глубоко уязвлено, и онъ сильно страдалъ. Онъ становился угрюмымъ, ворчливымъ, замѣтно опускался и старѣлъ, и голова его изъ сѣрой быстро превратилась въ бѣлую... У него развилась безсонница, и часто мучили кошмары — дикіе и страшные...

Докторъ, къ которому онъ обратился, пропи-
салъ пилюли и души, во значенія имъ, видно,
придавалъ не большое и усиленно подчеркивалъ
необходимость спокойствія. А именно спокойствія
у Сойфера не было. Какъ-то везамѣтно, въ корот-
кое время сдѣлалось то, что онъ сталъ смотрѣть
на себя, какъ на отжившаго. Угасли надежды и
ожиданія, ве складывались уже новые планы, ве
рождались новые образы. Вспышки вѣры въ себя
являлись рѣдко, очевь рѣдко, обычное же настро-
ніе было сумрачное, тоскливо... Особенно тоскли-
вымъ было оно потому, что Сойфера все тянуло
оглядываться назадъ, за прошлое, — а прошлое это

казалось ему и темнымъ, и недобрымъ... И чѣмъ больше и глубже вдумывался онъ въ пережитое, чѣмъ пристальнѣе всматривался въ разные эпизоды своей жизни, тѣмъ тревожнѣе и тягостнѣе становилось у него на душѣ...

Сознаніе того, что не все шло, какъ нужно, сознаніе виноватости давило его беспрестанно. Онъ за многое укорялъ себя, сильно и рѣзко, и въ послѣдніе дни ему не разъ приходило на голову, что исполненіе портрета Войнара — поступокъ нисколько не лучшій, чѣмъ тѣ, за которые онъ такъ горько упрекаетъ себя... И потому горячія и почти гнѣвины слова Гумилевича вызвали въ немъ испобѣдимую и острую боль.

— Да, но по какому праву онъ мнѣ все это гонорить? — мелькнуло вдругъ у Сойфера: — прошу его удалиться, вотъ и все.

Но попросить удалиться старикъ не могъ. И передъ дерзкимъ гостемъ своимъ, передъ этимъ нескладнымъ юнцомъ въ коротковатыхъ брюкахъ и перелицованный низитеѣ, онъ стоялъ сконфуженный, растряянный и, ие зная, что сказать, нервно покусывалъ губы.

„Я какъ будто боюсь его“, съ удивленіемъ думалъ онъ. „Точно онъ и въ самомъ дѣлѣ можетъ судить меня... И я хочу оправдаться... И хочу заслужить его одобреніе... Да вѣдь и портретъ Войнара я показалъ ему, чтобы заслужить одобреніе...

Щегольнуть хотѣль, показать, что вотъ, хоть мевя и затираютъ, и не првзываютъ больше, а такая важная, крупная особа, какъ этотъ властный магнатъ, всетаки мнѣ поручаетъ писать свой портретъ... Я думалъ импровизировать этимъ заказомъ... Какъ глупо, Боже мой, какъ глупо!“...

— Послушайте, — вачалъ Сойферъ, приблизившись къ Гумиловичу.—Послушайте: вы вотъ наговорили мнѣ дерзостей, а вѣдь знаете?— вѣдь это мнѣ нравится.

На губахъ старика легла странная гримаса. И глядя на его лицо, трудно было опредѣлить,—пытываясь онъ боль въ эту минуту, или ему хочется улыбаться.

— Мнѣ это нравится,—повторилъ овъ.—Мнѣ нравится ваша пылкость... Пять миутъ тому назадъ мы были почтительны, скромны, робки,—а теперь вы чуть не кричите на меня... Нѣть, нѣть, ие извиняйтесь! Этого совсѣмъ вѣ пужно... Лучше вы вотъ что сдѣлайте: выслушайте меня внимательно, и вы убѣдитесь, что вы неправы. Видите-ли,—продолжалъ Сойферъ, нѣсколько болѣе спокойнымъ голосомъ,—вѣдь я не просто портретъ Войнара пишу. Вѣдь это—не такой портретъ, гдѣ художникъ стремится передать одно лишь вѣнчее сходство. Это—портретъ психологический, или, если хотите, портретъ-символъ... Я воспользовался

заказомъ Войвара, чтобы выразить извѣстную идею. Идею силы. Идею иласти. Вы поимаете меня?

— Нѣть, ве поимаю,—сухо отвѣтилъ Гумиловичъ.

— Не повимаете? — Лицо у Сойфера потемнѣло.

— Не повимаю.

Гумиловвчъ все такъ-же угрюмо смотрѣлъ виизъ, ва иоги мольберта.

— Портретъ психологической, портретъ-символь...—пробормоталъ онъ.—Я отлично знаю, что дѣятельностью Войиара можно вдохновиться—можно ваписать цѣлую серію картивъ изъ его жизни. Но вѣдь для этого иеобходимо, чтобы художникъ былъ свободенъ, чтобы идохионеніе его было свободно, чтобы ово ве было приведено за чубъ самимъ-же этимъ Войиаромъ, который платить за картииу столько-то тысячъ...

— Дальше-сь,—процѣдилъ Сойферъ, складывая на груди руки и глядя на скульптора прищуревыми глазами.

Ему хотѣлось, чтобы тонъ его и лицо выражали васмѣшку и гордое презрѣвіе, ио онъ чувствовалъ очень хорошо, что исего меиыше расположень теперь именно къ васмѣшкѣ...

— Нужно, чтобы художникъ могъ свободно выразить свою мысль,—продолжалъ Гумиловичъ.—всю свою мысль; чтобы овъ могъ дать полную сво-

боду своему чувству... А развѣ вы теперь находитесь въ этихъ условіяхъ?.. Вѣдь не напишете-же вы Войвара такимъ, какимъ вы ва самомъ дѣлѣ его понимаете?

— Вы думаете?

— А вы этого не думаете?—Гумиловичъ усмѣхнулся.—Я бы это думалъ и тогда, если бы вашей работы еще не видѣлъ, и если бы еще не слыхалъ вашихъ объясненій. Теперь-же дѣло болѣе, чѣмъ ясно. Вы и сами говорите: „пользуюсь заказомъ, чтобы выразить идею“. Зачѣмъ-же для выраженія идеи „заказъ“?.. И потомъ, изображая Войвара, вы выражаете „идею силы“, „идею власти“. А мнѣ кажется, что здѣсь идею варварства выразить надо, идею дикаго насилия...

Теперь, когда со времени ухода Гумиловича прошло уже часовъ пять, Сойферъ, закрывъ глаза рукой, сидѣлъ въ креслѣ, и высокій, взволновавшій теноръ молодого скульптора все еще звучалъ въ его ушахъ.

„Нужно дать полную свободу своему чувству... Нужно, чтобы вдохновеніе было свободно... Чтобы оно не было приведено за чубъ заказчикомъ“...

Да, это нужно,—думалъ старикъ,—это нужно... Но этого никогда не было. Вдохновеніе онъ всегда подч韆валъ постороннимъ соображеніямъ, мысль связывалъ, чувство душшилъ... И потому жизнь его, съ виду такая блестящая, эффектная и вызывав-

шая удивлениe и зависть, была въ сущности жизнью жалкой, искаженной и несчастной...

И рядъ воспоминаний, мстяющихъ и жестокихъ, сталъ проходить въ душѣ Сойфера.

Изъ глухого польского мѣстечка, послѣ долгихъ лѣтъ штудированія талмуда, тщедушный, бѣдный, одинокій, пріѣхалъ онъ въ столицу учиться живописи. Ученіе пошло хорошо. Нашлись меценаты-евреи и устроили ему маленькую стипендию. Юноша работалъ съ огромнымъ прилежаніемъ,— и по искусству, и надъ общимъ своимъ развитиемъ, и черезъ пять лѣтъ послѣ пріѣзда въ Петербургъ выставилъ свою первую картину. На ней изображенъ былъ старый еврей, преслѣдуемый сворой разъяренныхъ псовъ. Еврей, въссохшій, сгорбленный, измученный, съ выражениемъ дикаго ужаса на лицѣ, бѣжитъ, испуская вопли, а псы окружили его со всѣхъ сторонъ и уже вѣдаютъ ему возможности спастись. Въ то время, какъ разыхъ породъ и мастей собаки рвутъ его съ боковъ за каftанъ и вонзаютъ ему зубы въ икры, огромная лохматая дворняжка забѣжала впередъ, высоко подскочила и, яростно лая, какъ бы повисла въ воздухѣ, передъ самимъ лицомъ несчастнаго старика...

Картина эта не прошла незамѣченной. Публика

передъ ней оставалась съ любопытствомъ, а въ газетахъ появилось два—три благопріятныхъ отзыва. Милліоверъ Цукерманъ, любитель искусства и покровитель талавтовъ-евреевъ, прочитанъ эти отзывы, купилъ картину. Заплатилъ овъ за нее пустякъ, но на недостатки указывалъ съ большой настойчиностью.

— Если у васъ не будетъ на обѣдъ, — можете когда-нибудь зайти ко мвѣ, — говорилъ онъ: — слава Богу, у меня всегда найдется чѣмъ удовлетворить аппетитъ...

Послѣ первой картины Сойферъ написалъ еще нѣсколько жанровъ, и всѣ они болѣе или менѣе нравились.

Однажды подкупала жизневность и выразительность фігуръ, дуугіе хвалили яркость красокъ, третыи ваходили, что картины интересны потому, что даютъ возможность знакомиться съ еврейской жизнью.

Въ общемъ всѣ отзывы сводились къ тому, что дарование у дебютавта скромное, во симпатичное. Чего нибудь крупнаго, выдающагося отъ него ожидать, пожалуй, нельзя, но на нашихъ, не слишкомъ богатыхъ талантами, выставкахъ онъ все-же является человѣкомъ неплохимъ. Часто выражали сожалѣвіе о томъ, что „художникъ замыкается въ узкую сферу еврейскихъ интересовъ“, и приглашали его браться за сюжеты и изъ русской жизни...

Эти приглашения вначалъ не производили на Сойфера никакого впечатлѣнія. Онъ былъ еврей съ головы до ногъ, „каждый дюймъ“ въ немъ былъ евреемъ; онъ отлично зналъ еврейскую жизнь, еврейскую душу, и считалъ поэтому, что изображать можетъ только евреевъ. Но съ течениемъ времени тяжелое беспокойство стало прокрадываться въ его сердце... Честолюбіе его не было удовлетворено...

„Умѣренное дарованіе“, „нелишній человѣкъ“, „любопытный жанрикъ“ — всѣ эти выраженія обижали его, оскорбляли, злили... Люди, значительно менѣе одаренные, заставляли о себѣ говорить, за-воевывали нидное положеніе, получали отличные заказы. Ему-же приходилось ухаживать за Цукерманомъ, и тотъ иногда пристраивалъ его этюды — по десяти, по пятнадцати рублей. Покровитель евреевъ-талантовъ при этомъ горестно кряхтѣлъ и пространно объяснялъ, что у него иа шеѣ цѣлая дюжина художниковъ, и что вчера еще только онъ ходилъ съ однимъ изъ нихъ на толкучай и на свои собственныея деиыги купилъ ему пальто.

— А что мнѣ остается дѣлать? У него талантъ не то, что у другихъ,—мазь да ляпъ, — вотъ тебѣ и этюдъ. Лишь бы содрать рубль.

Цукерманъ устремлялъ на Сойфера пронизывающій взглядъ.

— Этотъ художникъ — гений! И идеальность. Что

же, дать ему замерзнуть?.. А наши евреи искусства не понимают и художниковъ своихъ поддерживать не хотятъ...

Съ этимъ послѣднимъ соглашался и Сойферъ.

Евреи только тогда его оцѣнятъ и станутъ имъ дорожить, когда онъ добьется широкой извѣстности у русской публики. О, тогда они его на рукахъ будутъ носить, будутъ имъ гордиться и хвастать... Подобно тому, какъ русскому товару, чтобы быть проданнымъ за тройную цѣну, нужно носить на себѣ заграничную марку, и художнику-еврею, чтобы пользоваться уваженіемъ своимъ братьевъ, нужно предварительно быть признаннымъ христіанами... Это уже дѣло провѣренное. Но бѣда въ томъ, что еврейскими сюжетами трудно обратить на себя вниманіе русской публики. Чтобы завоевать у нея славу, надо выйти изъ „узкой сферы еврейскихъ интересовъ“ и надо писать картины изъ русской жизни.

А этого Сойферъ сдѣлать не могъ.

— Раавъ я способенъ написать хорошую, прочувствованную картину изъ русской жизни?—спрашивалъ онъ себя.

И затѣмъ онъ думалъ, что если бы ему двѣ три такія картины удались и онъ успѣлъ бы подняться и составить себѣ имя, онъ потомъ опять вернулся бы къ еврейскимъ сюжетамъ, и ужъ тогда работалъ бы совершенно спокойно, и какъ слѣдуетъ.

Однако же, такія думы были ему иепріятны, и первое время онъ всѣми силами старался ихъ отгоиять.

Ему въ нихъ чудилось что-то подозрительное, нечистое, и въ глубинѣ души шевелилось раздражающее сознаніе, что такія разсужденія напоминаютъ обѣщанія, которыми обыкновенно успокаиваютъ себя жадные, но не окончательно еще оподлившіеся дѣльцы: и богадѣльно выстрою, и на большинцу пожертвую — вотъ только какъ слѣдуетъ капиталъ округлю...

Онъ колебался... Но материальная стѣсненность, покровительство Цукермана, да эпитеты „нелишний“, „не лишенный способностей художникъ“ — дѣло свое дѣлали неуклонно...

— Не лишенный способностей, ие лишній человѣкъ... Да вѣдь у меня таланта въ двадцать разъ больше, чѣмъ у тѣхъ господъ, которыхъ вы превозносите. Но вамъ мои картины мало понятны, онъ вамъ чужды, онъ васъ не волнуютъ, и я для васъ „не лишенный способностей“... Погодите же, я покажу себя...

И Сойферъ затѣялъ смѣлое предпріятіе.

Онъ началъ большую историческую картину. И черезъ пятнадцать мѣсяцевъ упорной и лихорадочной работы выставилъ огромное полотно, „Пиръ Владимира Святого“.

Это произведение имѣло крупный успѣхъ.

Оно было гвоздемъ выставки, о немъ много писали и говорили, и имя молодого художника сразу пріобрѣло большую извѣстность. Особенно распинались за Сойфера тѣ имевво критики, которые въ свое время приглашали его выйти изъ „узкой сферы“. Они расхваливали картизу выше всякой мѣры, кричали о сильномъ талантѣ, о товкомъ понимавіи исторіи, о своеобразной индивидуальности,—и при этомъ все подчеркивали свои собственныя заслуги, свою прозорливость, свое умѣніе отыскывать дарованія, свое умѣніе направлять ихъ на вастоящую дорогу...

Шума было многого, въ богачъ-коллекціонеръ купилъ картину для публичной галлереи.

Сойферъ, вчера еще ве имѣвшій на натурщицкъ и на раму, вдругъ увидѣль себя обладателемъ капитала, на который можно было бы прокормить населеніе его родного мѣстечка въ течевіе добрыхъ шести мѣсяцевъ... Онъ торжествовалъ. Дорога его замѣчалась широко и открыто, и было ясно, что вѣтъ его ждутъ новые и еще болѣе шумные и значительные успѣхи. Онъ торжествовалъ... но чадиный осадокъ чего-то горькаго и ядовитаго мутілъ его душу. И порою Сойферъ вачиналь сомнѣваться въ достоинствахъ своей прославленвой картизы. Какъ мало у вѣго общаго съ Владимиромъ! И что ему до того, что Красное Солнышко пируетъ? Пируетъ-ли, тоскуетъ-ли, прогу-

ливается ли спокойно по берегу Днѣпра — какое ему, Сойферу, до всего этого дѣла?... И если ему до этого дѣла вѣть, и никакой связи между душой изображевшаго имъ человѣка и его собственной вѣ существует, то развѣ могъ онъ создать нѣчто дѣйствительно хорошее?... Нѣть ли здѣсь какои-нибудь ошибки, какого-нибудь тяжелаго ведоразумія?...

— Я напишу теперь Іегуду Галеви подъ стѣнами Іерусалима,— обѣщалъ себѣ Сойферъ.

И, изгоняя этимъ обѣщаніемъ изъ своего сердца беспокойство, онъ спѣшилъ отдаваться неизвѣданнымъ доселѣ „радостямъ сытаго бытія“...

„Іегуду Галеви“ онъ обдумалъ во всѣхъ деталяхъ и успѣлъ даже сдѣлать для него нѣсколько эскизовъ. Но тутъ у него явился вопросъ: не право ли возвращаться къ еврейскимъ сюжетамъ? Кто пойметъ эту картину? Кто ее прочувствуетъ и оцѣвитъ?

Христіавамъ Галени неизвѣстенъ, и они опять станутъ упрекать его въ томъ, что онъ замыкается въ „узкой сферѣ“, а евреи... евреи...

Сойферу рисовалась упитанная, рыхлая фигура Цукермана, и онъ пожималъ плечами.

Цукерманъ передъ увѣнчаннымъ художникомъ чуть вѣ ползаль. Онъ метался по городу, отъ знакомаго къ знакомому, и съ восхищеніемъ и съ вѣвѣроятной шумливостью оповѣщалъ всѣхъ о своей близости къ Сойферу.

— Онъ у меня всегда обѣдаетъ. И ночуетъ тоже. Онъ у меня какъ родвой сывъ. Развѣ вы знаете, что это за геніальный человѣкъ! И что это за идеалисты!

Одивъ изъ этюдовъ, служившихъ для „Пира“, покровитель талантовъ выпросилъ себѣ въ подарокъ.

— Я же не настолько богатъ, чтобы покупать такія знаменитыя вещи,—вздыхалъ, говорилъ онъ.

И Сойферъ думалъ теперь, что слава его ведостаточно упрочена, и что съ „Іегудой Галеви“ вадо еще подождать.

Подождать, впрочемъ, вадо было еще и потому, что картизу нельзя было писать, ве побывавъ въ Іерусалимѣ. Надо было хорошевъко изучить тамошній пейзажъ и освѣщеніе, и вадо было повскать на мѣстѣ соотвѣтствующихъ ватурщиковъ. Уѣзжать же изъ Петербурга мѣшали Сойферу нѣкоторые полученные имъ заказы. И вотъ эскизы для „Іегуды“ онъ ва время отставилъ.

Послѣдовалъ затѣмъ еще цѣлый рядъ картинъ, а поѣзда въ Іерусалимѣ все откладывалась. И только лѣтъ черезъ пятнадцать,upoенный успѣхамъ, заласкавый, захвалевый, собрался Сойферъ въ Св. Землю. Но когда онъ оттуда вернулся, то написалъ ве „Іегуду Галеви“, а „Паломниковъ ви Йорданѣ“...

Около часу просидѣлъ Сойферъ неподвижно, погруженный въ далекія воспоминанія. Потомъ онъ поднялся и сталъ расхаживать по мастерской. Онъ ступалъ медленно, тяжело и при каждомъ шагѣ грузно припадалъ на лѣнную ногу.

Въ мастерской стоялъ свойственный ей запахъ скипидара и свѣжихъ красокъ. Въ обыкновенное время Сойферу этотъ запахъ былъ пріятенъ и въ своеемъ родѣ даже нуженъ: онъ нозбуждалъ его, настраивалъ, пріохочиналъ къ работѣ. Теперь онъ ему мѣшалъ. Воздухъ съ трудомъ протискивался къ нему въ грудь и, протискавшись, назадъ какъ будто уже не выходилъ: онъ какъ-бы сгущался, твердѣлъ и толстымъ пластомъ чего-то жирнаго и теплого напаливался на сердце. И сердце отъ этого билось сильно и неронно и временами болѣзненно вздрагивало.

Сойферъ подошелъ къ окну и открылъ его. Смеркалось. На зеленонастомъ небѣ, среди замершихъ въ неподвижности, тяжелыхъ, фioletовыхъ тучъ беззучно загорались блѣдныя звѣзды. Движенія на улицѣ не было—ни экипажей, ни пѣшеходовъ,—и въ задумчивой тишинѣ отчетливо слышался протяжный речитативъ инщенки, просившей неподалеку, у роскошнаго, стариннаго палаццо... Сойферъ сталъ прислушиваться. И въ уныломъ, надорванномъ голосѣ инщенки ему почудилось что-то какъ будто знакомое—старое и родное...

Нищенка удалилась, причитаніе ея ставовилось все глупше и глупше, и вотъ, наконецъ, оно замерло совсѣмъ, оборвавшись на тихомъ и печальному стонѣ...

„Эль-моле-рахмимъ“ *), — промелькнуло вдругъ у Сойфера.

Онъ пошатнулся и схватился за сердце.

— Нѣть пустое... пустяки, — пробормоталъ онъ.

Онъ захлопнулъ окно, задернулъ занавѣски и снова запагалъ по комнатѣ.

Думалъ онъ теперь о „Паломникахъ“ и говорилъ себѣ, что нѣть ничего дурного въ томъ, что онъ ихъ написалъ. Паломники его поразили, его поразилъ ихъ экстазъ, ихъ наивная вѣра, онъ картину свою прочувствовалъ, — и, стало быть, могъ ее написать. Россіи, русской литературѣ онъ обязанъ очень многимъ. Онъ Россію любить, любить русскій народъ, и понятно и естественно, чтобы онъ для этого народа работалъ. Это тѣмъ болѣе естественно, что судьбы народовъ русскаго и еврейскаго во многомъ переплелись и слились, и что, работая для русского человѣка, работаешь въ то же время и для еврея. Это вѣрно. Но... но отчего же всетаки не вписалъ онъ своего „Легуду Галеви?“...

Отчего за всю свою долгую дѣятельность, съ

*) Слова молитвы, которою отпѣваютъ покойниковъ.

тѣхъ порь, какъ онъ пріобрѣлъ имя, онъ не взялъ ни одного еврейскаго сюжета?...

И теперь Сойферъ отвѣчалъ себѣ прямо, безъ изворотовъ: оттого, что это было ему неудобно.

Ему неловко было писать евреенъ, ему неловко было напоминать о своемъ происхожденіи. Ему это происхожденіе простили, и онъ это прощеніе принялъ. Онъ съ благодарной радостью принялъ его.

Евреи не могли ему дать много, — и онъ отъ нихъ ушелъ. О томъ же, что онъ могъ много дать имъ, онъ не думалъ.

— А впрочемъ... нѣть... — пробормоталъ Сойферъ, проводя тихо дрожавшей рукой по лицу. — Я думалъ объ этомъ, и не разъ этимъ томился...

И какъ ни строгъ былъ теперь къ себѣ старый художникъ, онъ не могъ всетаки обвинить себя въ полной безучастности къ евреямъ. Ему было ясно, что онъ нонсе не принадлежитъ къ тѣмъ одерененѣльымъ проходимцамъ, которые, отдѣлившись отъ своего народа и измѣнивъ ему и его вѣрѣ, съ полнымъ спокойствиемъ устраиваютъ собственныя дѣлишки подъ бокомъ у страдающаго брата. Онъ спокойнымъ не былъ. Онъ томился. Но томление это было поверхностное, бесплодное... Народа сноего онъ не забылъ. Но онъ отъ народа этого ушелъ. Онъ имѣстъ съ евреями не боролся и рядомъ съ ними не работалъ. Они все для него работали вѣками. Они накопляли для него и исчи-

слимъя духовныя сокровища, они сообщали ему свою свлу, свой духъ. Онъ изъ своихъ страданій выковали его талантъ, а онъ, все это взявшъ и всѣмъ этимъ воспользовавшись, ничего въ отплату не далъ...

Онъ даже частную жизнь свою устронилъ такъ, чтобы быть отъ евреевъ подальше. Знакомство онъ поддерживалъ только съ тѣми изъ вихъ, которые могли быть полезными,—съ богачами, съ влиятельными журналистами. Массу же, бѣдноту, весчастую въ неизящную еврейскую бѣдноту, ту самую, изъ которой онъ вышелъ и самъ, овъ тщательно избѣгалъ...

Разъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, онъ прогуливался по одвой изъ одесскихъ улицъ съ мѣстнымъ тузомъ-армянивомъ. Шедшій имъ ва встрѣчу старый, сѣдой еврей приблизился и по еврейски спросилъ, гдѣ находится портняжная синагога. Сойферъ смущился, заволновался и, окинувъ старика алобнымъ взглядомъ, безъ отвѣта поспѣшилъ отошель прочь...

Теперь воспоминаніе это такъ и жгло Сойфера, и по блѣдному лицу его быстро промчалось выраженіе брезгливаго гвѣза.

— Если бы то былъ не еврей, а армявинъ, и онъ къ намъ обратился бы по армянски, Тэрь-Егіазаровъ отъ него не убѣжалъ бы... Не убѣжалъ бы...

Сойферъ первво подергивалъ свою густую кли-

иообразную бороду и продолжалъ тяжелымъ, неровнымъ шагомъ ходить изъ угла въ уголъ.

„Нужно дать полную свободу своему чувству... Нужно выразить всю свою мысль“, думалъ онъ.

И теперь онъ ясно видѣлъ, что „всю“ свою мысль онъ не выражалъ никогда. Овъ всегда льнуль къ сильнымъ, всегда старался имъ нравиться, старался угодить...

Началось съ того, что онъ ушелъ отъ своего народа. Потомъ въ этомъ направлениі шло и дальше... Онъ угождалъ... И результатомъ долголѣтняго старанія угодить—явилось то, что онъ совершенно утратилъ свободу. Онъ добился известности, нажилъ состояніе, пріобрѣлъ поклонниковъ; но свободы, независимости у него меньше, чѣмъ у этого буйвола-натурщика, котораго за поль-лиры каждый встрѣчный можетъ раздѣлть до нага и заставить позировать въ какомъ угодно положеніи..

Сюжетовъ изъ еврейской жизни онъ не бралъ. Но и другіе сюжеты онъ и выбиралъ, и обрабатывалъ совсѣмъ не такъ, какъ хотѣлъ. Онъ останавливалъ свое вниманіе только на такихъ явленіяхъ, которые могли интересовать людей самыхъ противоположныхъ взглядовъ. И толкованіе жизни ухитрялся онъ давать такое, что оно приходило по вкусу всѣмъ: „и нашимъ, и вашимъ“...

Онъ шелъ, всегда озираючись, въ серединочкѣ,

не склоняясь ни направо, ни налево... Одно время соблазняла его мысль написать большую картину изъ жизни Стеньки Разина, — но онъ эту мысль въ исполненіе не принесъ: сюжетъ былъ „неудобенъ“. Собирался онъ изобразить „голодную деревню“, и это сдѣлать поостерегся... Остерегался онъ всегда. Всегда онъ передъ чѣмъ-то трусилъ и къ чему-то принаршивался. Свободнаго размаха онъ не зналъ, и смѣлые порыны были ему неизвѣстны...

— Держаль вдохновеніе за чубъ, — съ глубокимъ вздохомъ проговорилъ Сойферъ.

Ноги у него нѣмѣли и съ трудомъ сгибались, во нѣмъ тѣлѣ онъ чувствовалъ большую усталость... Онъ прислонился къ тяжелому пьедесталу, на которомъ стояла мраморная группа—двоє обнявшихся и заснувшихъ въ креслѣ полугоныхъ ребеночковъ. Солнце зашло уже совсѣмъ, но ночная чернота еще не спустилась, и въ мастерской разлитъ былъ тотъ странный и своеобразный сумракъ, который схожъ однімъ только съ сверху освѣщающимъ помѣщеніемъ.

— Какой любовью, какимъ миромъ вѣеть отъ этихъ дѣтей,—пытался думать Сойферъ, устремляя глаза на смутно бѣлѣвшую массу мрамора. — Что если ихъ освѣтить свади?

Онъ черкнулъ спичкой, подошелъ къ столу, гдѣ стояла высокая лампа, и стала снимать съ нея абажуръ и стекло. Но пока стекло было снято, спичка догорѣла. И вонкой Сойферъ уже не зажегъ. Онъ опять надѣлъ на стекло абажуръ и опустился въ кресло.

„Зналъ ли я истинное наслажденіе творчества?“ — спрашивалъ онъ себя.

И отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ отрицательный. Ни наслажденій, ни муки творчества онъ не испытывалъ. Только тогда, въ молодости, въ дни дебютонъ, когда онъ писалъ снои мало-замѣтные жанры изъ еврейской жизни, только тогда онъ переживалъ глубокое и сильное волненіе. Сердце его сжималось и горѣло, и не разъ подступали къ глазамъ слезы. Были мгновенія, когда онъ испытывалъ то сладкое страданіе, то мучительное, почти нестерпимое, но приближающее къ Богу трепетаніе души, которое доступно однимъ только избранныкамъ. Но потомъ... потомъ ничего этого уже не было...

Все, что онъ создавалъ потомъ, было глубоко продумано, иногда даже и прочувствовано, но никогда не выстрадано. Съ течениемъ времени чувство его ослабѣвало, тускнѣло и блекло; онъ работалъ ремесленнически-спокойно, и волновалъ его только вопросъ о томъ, принесетъ ли новое произведеніе ионые лавры и выгоды...

И ланры были... И выгоды были тоже...

Росло его имя, увеличивались доходы. Онъ много тратилъ и нелегкомъ обставилъ себя. У него развились особые вкусы и потребности—и онъ ихъ въ полной мѣрѣ удовлетворяетъ. Но новыхъ работъ у него нѣть, а о прежнихъ стали говорить, что онъ устарѣли. Отъ выходящаго изъ моды художника уже ничего не ждутъ, имъ не интересуются...

— Мои картины устарѣли,—пропшепталъ Сойферъ.—И это именно оттого, что я въ нихъ не давалъ свободы моему чувству... Они находили хуже, чѣмъ то, что я могъ сдѣлать... А нѣкоторыя, даже уже написанныя, я собственными руками исказилъ и испортилъ... „Монастырскую келью“, напримѣръ...

И ему стала припоминаться странная история этой картины.

Лѣтъ дѣвнадцать тому назадъ умерла мать Сойфера, и онъ поѣхалъ на похороны нѣ родное мѣстечко. Въ томъ же мѣстечкѣ жилъ и дѣдъ художника, ребе Нусенъ, сонсѣмъ уже веткій старикъ. Онъ былъ раввинъ и учитель и всю свою жизнь отдалъ изученію талмуда и дѣламъ благотворительности. У этого человѣка были феноменальные способности и сердце праведника. Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ удивительныхъ еврейскихъ самородковъ, которые такъ часто и такъ оскорби-

тельно бесполезно гибнуть въ смрадныхъ трущобахъ роковой черты, и которые при усювіяхъ менѣе жестокихъ могли бы сдѣлаться гордостью и отрадой всего народа... Сойферъ вырощенъ и взлѣянъ былъ ребе Нусеномъ и на исю жизнъ сохранилъ къ нему иѣжную привязанность и самое глубокое уваженіе. Теперь, очутившись въ родныхъ краяхъ, онъ ведумалъ занести дорогія черты на полотно и написаль съ ребе Нусена картину „Поиски Бога“.

Картина эта ему удалась. Но когда она пришла въ Петербургъ, и Сойферъ поставилъ ее на мольбертъ, посреди мастерской, онъ и другъ почувствовалъ тяжелую и досадную нелонкость...

Онъ долго смотрѣлъ на свое новое произнедение... и неловкость его все росла и росла...

Ему доложили, что прїхала графиня Штакельбергъ съ дочерью и инуками. Сойферъ покраснѣлъ, засуетился и поспѣшилъ повернуть картину къ стѣнѣ...

И пока продолжался сеансъ—Сойферъ писалъ портретъ молодой графини—настроение у художника было нестерпимо-треножное. Ему все казалось, что вотъ-вотъ старая графиня или ея внучата откатять отъ стѣны предательское полотно и увидять на немъ ребе Нусена. Штраймель *) уви-

*) Особый родъ шапки.

дять, пейсы увидяль, увидяль длинный, горбатый нось...

Сеансъ окончился благополучно, закаачники уѣхали, не взглянувъ ва Нусена. Безпокойство Сойфера нѣсколько улеглось. Но овъ понялъ теперь, что посылать картину на выставку ему нельзя... Нельзя, иеудобно...

А картина, между тѣмъ, была такъ хороша! Такой глубокой одухотворенностью вѣяло отъ этого ушедшаго за облака искателя старца, такой святостью сияли его ясные, всевидящіе глаза...

Отказаться отъ такого произведенія было бы совершенно неразумно... И Сойферъ отъ вего не отказался... Онъ скоро сообразилъ, чтѣ нужно сдѣлать, и нашелъ очень удачный выходъ...

Голову ребе Нусена онъ скопировалъ и повѣсиль у себя въ спальнѣ, а „Поиски Бога“ передѣлалъ.

Написаль другой костюмъ и обстановку, убралъ пейсы, измѣниль форму бороды и носа, тронуль кое-что на лбу и подъ глазами, и картина пошла ва выставку подъ названіемъ „Монастырская келья“...

— Господи, да неужели это было!—простональ Сойферъ, судорожно стискивая пальцы.

И теперь все это казалось ему вѣроятнымъ, кощунственнымъ, безумнымъ...

Ни пребываніе въ родномъ гнѣздѣ, ни горестныя картины тамошней жизни, ни общеніе съ дѣ-

домъ, ни свѣжая могила матери—ничто не могло очистить его душу, освободить ее отъ рабскихъ чувствъ.

И Сойферу страшно было думать, что эти чувства владѣли имъ всю его жизнь. Только теперь, когда пришла старость, когда побѣлѣла его голова, когда лавры стали увядать и опадать, когда услугами старого раба больше уже не хотятъ пользоваться и его, какъ ненужную, вегодовую тряпку, отбрасываютъ прочь, только теперь зашелась въ немъ что-то живое и человѣческое...

Но, и теперь даже, это человѣческое до такой степени слабо, что когда мѣсяцъ тому назадъ онъ получилъ заказъ Войнара,—онъ снова воспрянулъ и снова почувствовалъ себя и довольнымъ, и гордымъ...

На лвцѣ Сойфера легло выраженіе глубокаго отвращенія. Онъ напряженно, остановившимися глазами, смотрѣть впередъ себя, и въ испуганномъ воображеніи его одна за другой вставали его старыя картины. И всѣ онъ казались ему фальшивыми, невыразительными и бедарными. И со смѣшаннымъ чувствомъ недоумѣнія и страха думалъ онъ о томъ, что прожилъ жизнь, не использовавъ своихъ силъ. Силы были ему даны большія. Ему дана была власть высшая, власть надъ человѣческими сердцами, а онъ ею пренебрѣгъ. Какъ оперный пѣвецъ, который въ теченіе всей своей карьеры

не пользовался бы самыми могучими, самыми звонкими и страстными нотами и петь бы октавой ниже, чёмъ позволяли ему его голосония средстна, такъ и онъ яе использовалъ самыхъ дорожихъ и нажныхъ свойствъ сноего дарованія и со-здалъ только незначительныя, заурядныя и уже умирающія нещи..

О, если бы онъ не искалъ „Поисковъ Бога“!
О, если бы онъ и самъ искалъ Бога!..

Сойферъ сидѣть въ большомъ креслѣ, какъ-то ианскось, опустивъ голову и сѣянинъ на груди пальцы. Онъ сидѣть долго, и мысли въ его головѣ стали туманиться и обрываться... „Рабья жизнь... Рабья, рабья“!

Темносиній сумракъ становился все гуще, мебель тонула въ немъ, теряя контуры, и съ рѣзкой опредѣленностью иамѣчался только, стоявшій посреди мастерской, мольбертъ съ портретомъ Войнара.

— Какъ мацейва*)!—мелькнуло вдругъ у Сойфера, и онъ вадрогнуль и закрылъ глаза.

Ему хотѣлось встать, разрушить мацейву, откатить мольбертъ въ уголъ и снять съ него полотно, но онъ кань-то не рѣпался подняться.

Ему было жутко, невыносимо жутко, и онъ си-

*) Надмогильный памятникъ.

дѣль въ оцищеніи, съ плотно закрытыми глазами. Но, и съ закрытыми глазами, онъ все же продолжалъ видѣть грозную мацейву, и она какъ бы надвинулась еще ближе. И на ея большомъ и темномъ прямоугольникѣ холоднымъ блескомъ стала обозначаться какая-то черная надпись...

Сойферъ не хотѣлъ читать эту надпись, не хотѣлъ проникать въ ея тайный и ужасный смыслъ,— но это сдѣлалось помимо него. Мрачный блескъ буквъ прорѣзывалъ его сомнущія вѣки, входилъ въ его глаза, въ его душу...

„Онъ ничего не сдѣлалъ для своего народа. Онъ служилъ ирагу народа“...

Лидо у Сойфера затрепетало. И старому художнику показалось, что изъ груди его ныряется плачущій шепотъ: „да нѣтъ же, нѣтъ... этого не было... этого не будетъ“...

Сойферъ исталъ и, шатаясь, не отрыная отъ пола ногъ, дотащился до окна и отворилъ его...

Большія тучи, черныя, какъ сукно, которымъ накрываютъ покойниковъ, полали по небу, а въ промежуткахъ, въ треножномъ ожиданіи, когда одѣяніе смерти захватить и ихъ, дрожа горѣли зеленые звѣзды. Безмолвнымъ стояло старинное палаццо черезъ дорогу, безмолвными были неподвижные кипарисы подъ окнами, и безмолвнымъ и мертвымъ нь эта часть казался и весь огромный Римъ...

Сойферъ стояль, сжавшись, сгорбившись, положивъ обѣ руки на подоконникъ, и смотрѣль передъ собою, въ черную глубину. И онъ чувствовалъ себя такимъ слабымъ, весчастнымъ и одиночимъ... безконечно одинокимъ...

Онъ думалъ о томъ, что онъ—славный художникъ, что онъ почетный членъ разныхъ художественныхъ учрежденій, что у него есть ордева, что овъ портретистъ коровованныхъ особъ—и думы эти вызывали въ немъ ненависть и отвращеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то похожее на нѣжность и состраданіе къ себѣ...

Онъ одивокъ... и одинокимъ онъ будетъ всегда... Въ завѣщаніи своемъ овъ написалъ, что想要 быть похороненнымъ на родномъ кладбищѣ. Но теперь онъ понимаетъ, что на это кладбище овъ не имѣть права. И когда придетъ его девъ, и его остывшее тѣло ляжетъ рядомъ съ тѣми, замученнымъ людьми—никто изъ нихъ прознать его не сможетъ. И тамъ, въ томъ невѣдомомъ мірѣ, отъ котораго избавленія нѣть никогда, отъ котораго освободить не можетъ и самая смерть, онъ опять будетъ одинокъ, вѣчно и вѣчно одинокъ...

Сойферъ внезапно оторвалъ руки отъ окна, быстро прошелъ въ переднюю, снялъ съ вѣшалки шляпу и, нахлобучивъ ее на глаза, спустился съ лѣстницы.

Усталость его сразу исчезла, и онъ шагалъ энергично и твердо. У него мелькнула радостная мысль, и свѣтъ ея ярко озарилъ его измученную душу. Но, мелькнувъ, мысль эта тотчасъ же погасла, и, исполнивъ теперь то, что она продиктовала, Сойферъ дѣйствовалъ машинально, почти безсознательно. И въ походкѣ его, и въ выраженіи лица было что-то странное, напоминавшее лунатика.

Онъ шелъ и не думалъ о томъ, куда идеть и за чѣмъ. Гдѣ-то далеко, глубоко въ сердцѣ шепнулось смутное сознаніе, что онъ дѣлаетъ что-то хорошее, облегчающее, что надо торопиться,—и онъ торопился.

Изъ аристократического безлюдного бульвара онъ быстро вышелъ на небольшую круглую площадь и, увидѣвъ здѣсь трамвай, вскочилъ въ него.

— Скорѣе, покончу хоть съ этимъ... развязусь...—мелькнуло у него.

А съ чѣмъ именно покончить онъ и разнажется—этого онъ въ ту минуту не понималъ. Это открылось ему только позже, когда, ныайдя изъ вагона и начавъ спускаться по какому-то грязному и тѣсному переулку, онъ увидѣлъ на угломъ домѣ досечку съ назнаніемъ „Via Antonio”...

Онъ испомнилъ теперь, что на Via Antonio живетъ Гумплоничъ, и что именно къ нему онъ и

идеть. Онъ идетъ объявить ему, что не станетъ кончать портретъ Войнара.

— Ахъ, да!.. за этимъ...—въ мгновенномъ, болѣзневно-радостномъ возбужденіи подумалъ Сойферъ.—Да, да... ве буду ковчать... къ чорту портретъ... уничтожу его, изрѣжу, сожгу...

Было уже довольно поздно, но въ тѣсвомъ переулкѣ царило большое оживленіе.

Дома здѣсь были старые, грязные, узкіе, со множествомъ лавчиковъ и кабаконъ. Изъ большихъ оконъ ложились ва мостоную широкія полосы желтаго свѣта, и отовсюду слышалась громкая рѣчъ, перебранка и смѣхъ. Въ одвомъ кафе, претендовавшемъ ва щеголеватость, играли на мандолинѣ какую-то шуструю арію, а собравшаяся у дверей кучка молодыхъ людей слушала, и времевами чей-то низгливый, смѣшной голосъ начивалъ передразнивать музыканта, лаять, мяукать, кудахтать, и тогда всѣ хохотали и весело ругались...

Посреди улицы и по тротуарамъ, между телѣжекъ съ зеленью и мелкимъ галантерейнымъ товаромъ, буйно носились черномазыя, босоногія дѣти, шлепались на землю и садились другъ на друга, оглашая воздухъ и плачерь, и побѣднымъ взвизгиваніемъ. Толстымъ басомъ или проваительнымъ диксантомъ орали торговки, приглашая покупателей воспользоваться позднимъ временемъ и

дешево скупить остатки. Мужчины, черноглазые, чернобородые, въ широкихъ плисовыхъ штанахъ, подпоясанные красными или синими поясами, уже подъ хмѣлькомъ, ходили вверхъ и внизъ по улицѣ, задумчиво останавливались у кабаковъ, заглядывали въ окна, и потомъ исчезали въ дружелюбно раскрытыхъ дверяхъ...

Всюду была толкотня, всюду былъ гамъ, и со всѣхъ сторонъ неслись смрадные запахи,—горѣлого, прѣющаго, гнилого,—запахи прочно установившейся, застарѣлой вищеты...

Это былъ переулокъ, гдѣ ютились голодающіе художники и вхѣ вѣрные слуги и друзья—модели...

— Это четырнадцатый номеръ,—пробормоталъ Сойферъ, подымая глаза къ воротамъ.—Онъ живеть въ тридцать второмъ... Пятый этажъ, вторая дверь валѣво... Скажу ему, что иѣть портрета... ни психологического, ивъ символического, никакого портрета нѣтъ... Уничтожу полотно и ковчево... кончево...

Спускаясь внизъ по переулку, Сойферъ незамѣтно для самого себя замедлилъ шаги.

Что-то странное и болѣзненное совершалось въ немъ. Всѣ его мысли и чувства были точно придавлены и, какъ человѣкъ въ низкомъ подземельѣ, не могли стать во весь ростъ и выпрямиться. Онъ окутаны были неподвижнымъ тяжелымъ туманомъ,

и очертанія ихъ и тоны были неопределены, мертвеннны и тусклы. Тусклой была радость отъ сознанія, что съ чѣмъ-то будетъ „покончено“; тусклымъ было опасеніе, что „покончить“ ни съ чѣмъ не удастся; тусклой была догадка, что въ этомъ стремлениі „покончить“ заключается что-то ненормальное, страшное...

Сойферъ остановился и пронзъ рукою по глазамъ. У него болѣла голова, самый мозгъ, — но и боль тоже была тусклая, безцвѣтная и тупая...

— Арнольдъ Веньяминовичъ, это вы? — раздался вдругъ чей-то удивленный голосъ.

Сойферъ медленно обернулся.

Гумиловичъ въ старой блузѣ и безъ шапки стоялъ на тротуарѣ и обѣими руками держалъ большой газетный листъ, на которомъ, какъ на подносѣ, высокимъ бугромъ лежало что-то бѣлое, лоснящееся. Подъ мышкой торчала у него проволочная вѣшалка, деревянная ручка новой метелки и какой-то бояльной синій свертокъ.

— Какими это судьбами? — продолжалъ скульпторъ. — Вѣроятно, за натуричками?.. Что за удивительные головы попадаются, чудо!.. И вообще, несъ городъ — чудо!.. Ужасно я имъ доискиваться, ужасно!..

Гумиловичъ несильно оскалилъ зубы.

— Все тутъ хорошо... Вотъ, напримѣръ, макаронъ я себѣ купилъ... Вѣдь я все воображалъ, что

мнѣ тутъ придется странней заниматься, что надо будетъ голодать. А вовсе голодать не буду... Тутъ исе такъ дешево... Стой, ты не ъяди! — обратился онъ и другъ къ своей метелкѣ, крѣпко прижимая ее локтемъ.

— Все дешено... — продолжалъ Гумиловичъ.— И все продается готовое: картофель жареннымъ, макароны и фасоль вареными... и супу можно купить, и шпинатовъ тамъ исякихъ, чортъ ихъ знаетъ, я ихъ никогда и не ъдалъ... Прелестъ ей Богу!

Гумиловичъ бросиль нѣжный взглядъ на желтоватую и отъ газового свѣта сильно снеркавшую жирную груду макаронъ. Сойферъ уловилъ этотъ взглядъ — и на сердцѣ у него вдругъ сдѣлалось какъ-то странно-весело.

— Вы очень любите макароны?

— Макароны?.. Чудесная вещь!.. Эти черномазые удивительно ихъ готовять. А главное — дешево какъ! За нѣсколько чентезимонъ.

Съ Гумиловичемъ Сойферъ видѣлся всего дважды, и иѣ оба раза разговоръ у нихъ былъ серьезный, важный, почти торжественный. И теперь Сойферу какъ-то странно было сышать отъ своего собесѣдника эти разсужденія о мелкихъ житейскихъ дѣлахъ. Странно и пріятно, удивительно пріятно... И ему очень хотѣлось, чтобы разговоръ продолжался, чтобы онъ ие мѣняль своего

характера, и все касался бы жареного картофеля, шпината и макаронъ...

И желаніе его осуществлялось.

Гумпловнъ возвращался изъ лавки, гдѣ только-что накупилъ себѣ разныхъ хозяйственныхъ принадлежностей: метелку, вѣшалку—„ноть онъ!“ Въ карманахъ и въ сунемъ сверткѣ были у него еще лампочка, стаканы, кусокъ вываренного супового мяса и сапожная щетка, и все это, сверхъ ожиданія, куплено было поразительно дешево, и молодой скульпторъ былъ въ отличномъ настроеніи. Онъ радъ былъ подѣлиться своими впечатлѣніями и съ дѣтской наивностью и оживленіемъ докладывать о только-что одержанныхъ хозяйственныхъ побѣдахъ.

— Какая это гадость, когда надо самому готовить!—восклицалъ онъ.

И онъ принялъ разсказывать, какъ много времени тратилъ на стряпню въ бытность свою въ Мюнхенѣ, какъ въ концѣ концовъ дорого все обходилось, и какую онъ всегда ъль дрянь: супъ—мыльная вода, мясо—горѣлое, похожее на антрацитъ...

— А вы, небось, любите, когда кусно?—сътайной радостью спросилъ Сойферъ.

— Конечно.

— И предпочитаете макароны съ пряностями?

Ужъ и самъ не знаю... Всякія предпочитаю.
Вотъ приду домой—сейчасъ всю эту груду съѣмъ.

— Неужели исю? Но онъ слишкомъ жирны.

— Это ужъ ихъ горе... А мнѣ только удобнѣе:
скользки—глотать легче...

Сойферъ разсмѣялся. И смѣхъ у него былъ
добрый, ласковый и жирный, — какъ и эти мака-
роны.

— Нѣмцы — тѣ кажется все больше на счетъ
Gemüse,—науськивалъ старикъ.

И Гумпловичъ все тѣмъ же веселымъ и дѣтски
простодушнымъ тономъ опять говорилъ обѣ ѿдѣ,—
о томъ, что ёдять нѣмцы, и что ёдять у него на
родинѣ, въ Галиції. Плохо тамъ ёдять, народъ
бѣденъ. Но въ богатыхъ ресторанаѣ блюда есть
какія-то совсѣмъ особенныя. Гумпловичъ разъ вы-
лѣпилъ бюстъ одвого богатаго подрядчика, и bla-
годарный заказчикъ угостилиъ его и „Козьей
ногѣ“. Вли что-то такое, чemu и названія ве под-
берешь, прямо что-то фантастическое.

— Ага!—весело отозвался Сойферъ.

„Къ нему я бѣжалъ... каяться—проносилось у
старика:—къ этому вотъ...“

И на молодого скульптора онъ смотрѣлъ съ
тѣмъ неожиданнымъ чувствомъ ёдкаго и упоитель-
наго злорадства, съ какимъ некрасивая женщина
смотреть ва обезображенную ожогомъ соперницу,
вчера еще сперкавшую ослѣпительной красотой...

— А воть, гдѣ совсѣмъ уже плохо, такъ это въ Парижѣ,—продолжалъ между тѣмъ Гумиловичъ.

И онъ сталъ разсказывать, какая въ этомъ городѣ страшная дороговизна. Однѣнъ пріятель его, учевикъ консерваторіи, флейтистъ, пишетъ оттуда, что ѿсть конину и на обыкновенной лампѣ варить въ водѣ крупу. А когда нѣть и крупы—идеть въ казармы, и тамъ солдаты даютъ ему остатки своего рациона.

— Дурень онъ: писалъ я ему, чтобы сюда прѣхаль—не хотеть.

Сойферъ ядовито усмѣхнулся.

— Да, вы я вижу, дѣло понимаете. Вы попрактичѣе вашего пріятеля. Но вы забываете воть что,—добавилъ онъ, внезапно охваченный какимъ-то темнымъ и злобнымъ чувствомъ:—вы забываете, что кто хочетъ вкусно ѿсть, тотъ долженъ идти въ биржевики, а не изучать искусство.

Гумиловичъ удивленно посмотрѣлъ на Сойфера.

— То есть... позвольте... откуда же это?..

— А воть оттуда... — оборвалъ Сойферъ, — вы, кажется, тутъ гдѣ то живете?

— Черезъ дорогу.

— Ну, такъ, прощайте... мнѣ сюда, направо... Я имѣлъ глупость сказать натурщику, чтобы онъ завтра не приходилъ, а между тѣмъ мнѣ надо спѣшить кончать Войнара. Порфириу дописывать надо...

— Животное! — съ ликующей злобой думалъ Сойферъ, когда минутъ черезъ пять снова входилъ въ вагонъ трамвая.—Полчаса говорить, и все объѣдѣ. Какъ бы получше нажраться... Даже глаза разгораются... Животное...

Широко разсѣвшишь на свободной скамье полу-пустого вагона, Сойферъ думалъ о томъ, что никогда не слѣдуетъ впадать въ сентиментальность, и что нельзя поддаваться мимолетнымъ настроениямъ.

Какъ нелѣпо, какъ несправедливо и глупо было это желаніе каяться передъ какимъ-то Гумпловичемъ! Бѣжать къ нему, докладывать, что портретъ Войнара не будетъ оконченъ... Да вѣдь это прямо помѣшательство какое-то...

Придеть къ тебѣ вотъ этакій тупой попылякъ, низменный обжора какой-нибудь и, драпируясь въ тогу идеализма или тамъ патріотизма какого-то, что-ли, станетъ тебѣ говорить дерзости, станетъ судить тебя и карать. За что? По какому праву? Кто онъ, этотъ грозный судья? Захвати-ка его врасплохъ, въ его домашней обстановкѣ, и увидишь ясно, что онъ изъ пошляковъ пошлякъ. Злобная бездарность, завистливый неудачникъ, ничтожество, корчащееся отъ боли при видѣ чужихъ успѣховъ... Но онъ нагль, нагль безъ конца,

и этимъ онъ береть. Ты теряешься передъ этой наглостью, слабъешь, воображаешь, что и въ самомъ дѣлѣ нѣ чѣмъ-то ниновать, и начинаешь опрандышаться и продѣлываешь рядъ дикихъ и нелѣпыхъ вещей... Возмутительно!..

Трамвай выбѣжалъ изъ грязаваго рабочаго кнартала и понесся по ярко-освещеннымъ тургоямъ улицамъ. Пассажиры все прибывали. Недалеко оть Корсо ихъ набралось столько, что нѣкоторымъ пришлось стоять. Потомъ, когда Корсо проѣхали и стали приближаться къ тихой, аристократической части города, пассажиры одинъ за другимъ сходили, и скоро въ вагонѣ осталось только дна безмолниыхъ, желтолицыхъ, одѣтыхъ нѣ черное и на нидѣ очень алобныхъ аббата.

Сойферъ сидѣлъ противъ нихъ и, глядя нѣ узкое пространство между двухъ плоскихъ, мѣрио качанихся черныхъ шляпъ, старался думать нее о томъ-же—объ обжорстнѣ Гумилевнча, о иизменности и наглости его натуры. Но мысли эти, какъ будто, и продолжаниія казаться и нѣрныи, и спрѣнедливыми, утратили, однако, сною утѣшительную силу, и нѣ сердцѣ старого художника теперь опять стояла тренога и тоска...

И, по мѣрѣ приближенія къ дому, тоска эта нее росла и росла, а нмѣстѣ съ ней росла и физическая усталость...

— Плохо мнѣ,—безнучно говорилъ Сойферъ

снимая съ головы давившую его шляпу.—Должно быть, очень мнѣ плохо?..

Аббаты въ черномъ дремали, и желтныя, остроносыя, мертвыя, но безпрестанно кивавшія лица ихъ были непріятны Сойферу и пугали его. Онъ всталъ, чтобы пересѣсть подальше, но, замѣтивъ, что вагонъ приближается къ круглой площади, на ходу соскочилъ и направился къ своему бульвару.

Было душно и очень темно. Просвѣтовъ со звѣздами на небѣ уже не было видно, и все оно сплошь затянулось чернымъ покровомъ. Похоже было, что надъ землей раскинутъ какой-то черный и страшный шатеръ, гдѣ стоитъ тяжелая духота, и гдѣ все до послѣдней степени изнурено и подавлено.

Сойферъ шелъ медленно, съ обнаженной головой, и опять думалъ о Гумпловичѣ и о себѣ...

Трусливыми, жалкими, презрѣнными казались ему его нападки на юношу... Да вѣдь вовсе и не на Гумпловича нападалъ онъ: онъ бросалъ грязью во все живое и честное, на все то свѣтлое, безкорыстное и самоотверженное, что самому ему было недоступно... Надо было все низвести до своего уровня, надо было все затопить той грязью, въ которой захлебывался онъ самъ...

— Господи, какъ я несчастенъ!—тихо пробормоталъ Сойферъ.

И онъ уже не могъ думать ни о чёмъ.

Странныя, смутныя, разрозненныя мысли выплывали въ головѣ вмѣстѣ съ какими-то обрывками далекихъ воспоминаній—выплывали, кружились и исчезали, замѣняясь другими, еще болѣе ненужными, еще болѣе безсвязными и сумбурными... „Я боленъ“,—мелькало у Сойфера: „я боленъ“...

И онъ тихо плелся, закрывъ глаза, и въ черномъ воздухѣ ему чудилось присутствіе чего-то таинственнаго, злого и беспощаднаго.

„Ничего нѣтъ, пустяки... это нерви...“—успокаивалъ онъ себя,—а холодныя волны одна за другой проходили у него по спинѣ...

Ему хотѣлось оглянуться, но сдѣлать это онъ боялся. И, не поворачивая головы, онъ краемъ глазъ смотрѣлъ назадъ; и хотя никого не было ни вблизи, ни вдали, и нѣмъ и пустыненъ быль весь широкій бульваръ, ему все не переставало казаться, что въ черной аллеѣ кто-то тихо крадется и вздыхаетъ... А когда онъ поровнялся со старымъ палаццо, то сверху, изъ неподвижно нависшей, плотной листвы ему послышался какой-то голосъ. И Сойферъ не понималъ чей это голосъ, и что означаютъ его тревожные переливы—нищенка-ли просить, Гумпловичъ ли, волнуясь, говорить о выпитой Войнаромъ еврейской крови, старый ли канторъ поеть надъ ребе Нусеномъ печальное „Эль-моле-рахмимъ“...

— Измучился... измучился,—шепталъ Сойферъ, поднимаясь къ себѣ по лѣстницѣ.

Наверху, на площадкѣ, онъ остановился. Онь думалъ, что надо пойти въ спальню и лечь, что нельзя теперь заходить въ мастерскую, гдѣ стоять мацейвы, гдѣ стоять портретъ Войнара...

И, думая такъ, онь открыналъ дверь нъ мастерскую и входилъ нъ нее...

Онь добрался до большого ковроваго дивана и опустился на него... Тяжелое оиѣмѣніе разлилось по всѣмъ его членамъ и какъ бы придавило его... И могильная тишина мастерской вдругъ дрогнула; звуки, непонятные и стравные, похожіе на тихое шуршаніе осторожно разворачиваемыхъ талесонъ *), вошли нъ душу Сойфера. Родное кладбище, то самое, о которомъ Сойферъ мечталъ и которое такъ пугало его и мучило, было теперь адѣсь... Оно широко разстилалось но неѣ стороны и ему не было предѣловъ... И среди темныхъ и сѣрыхъ мацейнь тусклымъ колеблющимся туманиомъ бѣлѣли одѣтые въ талесы мертвѣцы... И мертвецовъ этихъ было иенсчислимое множество, они шли до самаго горизонта и терялись нъ безкоиечности...

— Зачѣмъ вы... зачѣмъ...—трепетно простоналъ Сойферъ.

А мертвѣцы колыхались, днигались, шурша та-

*) Покрывало, въ которое евреи облекаются для совершенія молитвы. Въ него же завертываются и покойниковъ.

лесами, таяли и растворялись въ бѣлесонатой мглѣ; мгла эта быстро сгущалась, сворачивалась въ тяжелые клубы, и изъ нихъ стала медленно выростать чья-то высокая темная фигура... Синій огонекъ тихо испыхнулъ и повисъ въ воздухѣ, и при его слабомъ, немерцавшемъ свѣтѣ Сойферъ узналъ фигуру... Передъ нимъ стоялъ съдой еврей, тотъ самый измѣженный старый еврей, котораго онъ изобразилъ на своей первой картинѣ... То же было у него на лицѣ выраженіе ужаса и безконечной муки, такъ же бѣшено прыгая, рвали его тѣло псы, и такъ же обильно струилась по его лохмотьямъ и по землѣ дымящаяся кровь...

И словно что-то ударило Сойфера—изнутри, нѣ самое сердце...

— Я иду къ тебѣ!—вскричалъ онъ нѣ экстаза.—Я спасу тебя отъ этихъ псовыхъ.. Я отгоню ихъ прочь.. Я брошу имъ себя... Пусть они разорвутъ меня на части... Пусть изгрызутъ мое сердце... пусть по каплѣ выпьютъ мою кровь... Но тебя я спасу... Я иду къ тебѣ, иду!..

Онъ сорвался съ дивана, нырнулъ, завесъ надъ головой руками...

Но синій огонекъ, тихо дрогнувъ, погасъ, и мглистое видѣніе исчезло...

Сойферъ стоялъ нѣ оцѣпеніи, съ широко раскрытыми глазами, съ высоко поднятой надъ головой рукой.

— Я сошелъ съ ума...—безавучно прошепталъ онъ:—я сопель съ ума...

Онъ упалъ на диванъ.

Въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній у него не было никакихъ мыслей, никакихъ ощущеній. Потомъ сложное, нестерпимо мучительное чувство вошло въ его сердце. Въ этомъ чувствѣ перемѣшивались и ужасъ, и отчаяніе, и безнадежная, смертельная тоска...

— Не вернешь, не вернешь, ие вернешь...—рыдала старческая душа.—Не вернешь...

ЗЕМЛЯКИ.

Разсказъ.

Въ течевіе первой недѣли Варвара Степановна Клобукова чувствовала себя на новомъ мѣстѣ отлично.

Прежде всего забавляло ее сознаніе, что вотъ, случилось чудо, и она за-границей, во Франціи; затѣмъ радовала мысль объ огромномъ заработкѣ: семьсотъ франковъ въ мѣсяцъ на всемъ готовомъ,—этого она у себя въ Мертвоводскѣ не выработала бы и въ годъ; и, наконецъ, большое удовольствіе доставляла эта необычайная, никогда ею еще не виданная роскошь и комфортъ.

Варвара Степановна отведены были двѣ прекрасныя комнаты и cabinet de toilette съ ванной, душами и огромнымъ трехстворчатымъ зеркаломъ, въ которомъ оглядывать себя можно было со всѣхъ оторонъ.

Меблировка вся вообще была „царская“, но больше всего поражала Клобукову кровать—огромное сооруженіе съ рѣзными палисадовыми ко-

лонвами, съ атласными покрывалами и кружевными занавѣсками.

Прислуживала Варварѣ Степановнѣ горвичная, „въ тысячу разъ“ болѣе изящная, чѣмъ „ломака Оберемченко“,—первая Мертводовская львица, а безчисленныя и тонкія блюда къ обѣду подаваль пышный лакей, въ чулкахъ и бѣлыхъ перчаткахъ.

Получила это мѣсто Варвара Степановна слѣдующимъ образомъ.

Графъ де-Севъ-Блэвъ, богатый и дѣятельный заводчикъ, имѣвшій крупные паи и въ нѣкоторыхъ русскихъ предпріятіяхъ, ѿдилъ въ Россію по нѣсколько разъ въ годъ. Жена же его, тучвая, рыхлая женщина, въ молодости славившаяся буйными кутежами, оставалась обыкновенно дома—въ Парижѣ, или въ провинціи, въ замкѣ—и предавалась тамъ вастойчивымъ упражненіямъ въ благочестіи, вязанію фуфаекъ для бѣдныхъ, и лѣченію своей особы отъ болѣзней, которыхъ не имѣла. Но одважды случилось такъ, что ей вздумалось осмотрѣть свои россійскія владѣвія, и она двинулась въ путь.

Поѣхала ова, разумѣется, не одна, а въ сопровожденіи цѣлаго штата прислуги: были тутъ и горвичныя, и лакеи, и кучера, и секретарь по благочестивымъ дѣламъ, были двѣ *dames de compagnie* и шведка-массажистка, *m.lle Норцеліусъ*.

Графиня прожила въ Екатеринославской губерніи недѣли двѣ, въ Херсонской съ мѣсяцъ, побывала въ Петербургѣ, заглянула въ Москву и, восхищенная и очарованная всѣмъ, что видѣла, и въ особенности нашимъ вародомъ,—*ils sont si soumis, les russes*,—стала собираться домой.

И тутъ вдругъ массажистка *m-lle Норцеліусъ* объявила, что изадѣ во Францію она не ѿдѣть: она познакомилась въ Мертвоводскѣ съ однимъ своимъ соотечественникомъ, владѣльцемъ рыбной лавки, и выходитъ за него замужъ.

Графини ахнула. Неприличнымъ поступкомъ шведки она разстроена и огорчена была до того, что въ теченіе цѣлой недѣли не связала ни одной благотворительной фуфайки... Кое какъ, однако же, она успокоилась, и тогда началось разыскиваніе новой массажистки. Выборъ палъ на Варвару Степановну.

Клобукова графинѣ понравилась и сразу, и сильно. Она, во-первыхъ, тоже была „*soumise*“, а во-вторыхъ, отлично дѣлала свое дѣло. По крайней мѣрѣ, такъ находила графиня. Она утверждала, что никогда и никто не массировалъ ее такъ хорошо, какъ эта *petite russe*. И когда пришло время отъѣзда во Францію — она разставаясь съ Варварой Степановной не захотѣла ни за что и, устроивъ ей жалованье, увѣала ее къ себѣ, въ замокъ

Варвара Степановна занята была ровно одинъ

часть нъ сутки, отъ девяти до десяти утра, когда массиронала. Все остальное время отдавалось въ ея распоряженіе, а какъ имъ распорядиться—она не знала.

Изъ дому она принеала нѣсколько номеровъ журнала „Нонь“ да томъ сочиненій Вонлярлярскаго и, хоть иообще охотницей до чтенія была небольшой, читала теперь долгими часами. Но несь день чтеніе заполнить не могло—да и книжки скоро были прочитаны—и Клобукона скучала.

Она подолгу бродила нъ паркѣ, огромномъ и удивительно красивомъ, уходила на прогулки въ сосѣднія деревни, цѣлые часы употребляла на кормленіе лебедей на пруду и кроликовъ въ сараѣхъ,—и все время не переставала скучать...

По французски она понимала съ грѣхомъ пополамъ—языку этому она училась въ шестиклассной прогимназіи, гдѣ благополучно и закончилось все ея образованіе,—а говорила на немъ совсѣмъ плохо. Все же, при надобности, она могла бы какънибудь столкнуться и развлечься бесѣдой, но графиня изяла съ нея торжественное обѣщаніе ни съ кѣмъ изъ служащихъ нъ замкѣ и разговоры не вступать.

— M-elle Норцеліусъ разговаривала со всѣми,—жаловалась графиня,—она была социалистка. И я очень счастлива, что она, наконецъ, ушла... Вы, я надѣюсь, не социалистка?

Клобукова успокаивала графиню. Отецъ ея, говорила она, былъ отставной штабсъ-капитанъ и тюремный смотритель, братъ служить въ полиції, вся семья у нихъ вполнѣ благонадежная, и сама она придерживается взглядовъ очень умѣренныхъ.

— Je vous en félicite,—отвѣчала графиня.

И добавила при этомъ, что въ ноябрѣ пріѣдутъ ея внуки съ двумя гувернантками,—тогда Клобуковой будетъ съ кѣмъ разговаривать: завтракать и обѣдать онѣ будутъ вмѣстѣ съ нею.

Въ ожиданіи этихъ гувернантокъ Варвара Степановна за столъ садилась одна... и тоскливо ей отъ этого и отъ постояннаго молчанія было нестерпимо. Не шли въ горло ни *suprême de volaille à l'Elysée*, ни душистая и токсичная вина, и такъ сладко мечталось о капустѣ и сушеной таравкѣ...

У себя дома, въ Мертвоводскѣ, Варвара Степановна умѣла очень хорошо заполнить день и не скучала.

Она ходила на массажную практику, занималась по хозяйству, штопала, вышивала гладью и въ крестъ, вязала кружева, ковры и другія ненужные вещи; лѣтомъ каждый вечеръ отправлялась на бульварь, и тамъ за неѣ ухаживали офицеры и почтовые чивовинки; зимой ходила на катокъ, на вечеринки къ знакомымъ, танцевала на клубныхъ балахъ... Она никогда не покидала родного города, не пробовала разлучаться со своимъ. Тे-

перь одиночество она чувствовала особенно сильно и томилась и грустила безъ конца.

Чужія фіаіономіі, не похожія на лица русскихъ людей, быстрая носовая рѣчъ, въ которой такъ трудно было уловить смыслъ, веселая красота пейзажа, странность крестьянскихъ костюмовъ — все это стѣсняло Клобукову, смущало и временами злило.

— Чортъ ихъ разбереть, зачѣмъ имъ деревянные башмаки? — сердито восклицала она.

И день ото дня она становилась мрачнѣе и угрюмѣе. Она даже похудѣла и поблѣднѣла, и уже случилось ей нѣсколько разъ всплакнуть.

— Дура, — съ досадой останавливалась она себя, — въ двадцать два года я реву, какъ гимназистка...

Но и сильныя выраженія не помогали: слезы лились и лились, когда часу въ десятомъ вечера, полная тоски и унынія, она взмачивалась на свою огромную палисадровую кровать...

И съ горечью и злобой думала она о томъ, какъ скверно устроена жизнь. Изъ-за нѣсколькихъ сотъ франковъ надо бросить родную страну, всѣхъ близкихъ и дорогихъ людей, надо разстаться со всѣми своими привычками и обычаями и уѣхать. Богъ знаетъ куда, Богъ знаетъ къ кому, надо прощать себя...

Сонъ долго не приходилъ къ Клобуковой... И когда, наконецъ, она засыпала, ей снился Мертв-

водскъ,—загаженный навозомъ базарь, солдатъ на каланчѣ, прогуливающіяся по бульвару свиньи, пьяненький дѣячокъ Лаврентій, коричневыя, какъ дубъ твердыя, ноги судомойки Горпины, и много другихъ милыхъ сердцу фигуръ, картинъ и предметовъ...

Если же Россіи и русскаго Варвара Степановна во снѣ не видала, то она вставала утромъ еще болѣе печальной, еще болѣе сумрачной, чѣмъ быда наканунѣ...

Все, что ова видѣла вокругъ себя, было красивѣе, наящнѣе, варяднѣе, богаче, веселѣе, чѣмъ въ Россіи, и все, однако же, вызывало въ ней одно только глухое раздраженіе, скуку и тоску...

— Пріѣдуть гувернантки, легче будетъ, веселѣе,—пробовала она утѣшать себя. Но она очень хорошо понимала, что гувернантки ей не помогутъ, и что чѣмъ дальше, тѣмъ тоска будетъ острѣе и вевыносимѣе...

Каждый день она писала длиннѣйшія письма,—и даже людямъ не очень блвакимъ,—и напередъ высчитывала и отмѣчала въ книжкѣ, когда получится отвѣтъ...

„Бросить бы все, убѣжать!“ — мелькало иногда у ней.

Но тутъ сейчасъ выступали соображенія о семейной стѣсненности, о томъ, что съ поступлениемъ брата Васи въ университетъ стѣсненность эта еще

усилится, о томъ, что домишко ихъ, заложенный и перезаложенный и въ обществѣ взамнаго кредита, и у частныхъ лицъ, скоро пойдетъ съ молотка...

И собирая всѣ свои силы и все свое мужество, Варвара Степановна отгоняла прочь чарующую мысль о бѣгствѣ и съ все возраставшей тоской въ душѣ продолжала нести свой крестъ...

II.

Какъ-то разъ, послѣ завтрака, прогуливалась она на лугу, вдоль берега узкой рѣчушки. Только что прошелъ дождь, и косматые обрывки тучъ, черно-синіе и нѣжно-серебристые, безпрестанно мѣняясь и цвѣтъ, и очертанія, быстро неслись по небу. Солнце то пряталось, то являлось вновь, и свѣтовые эффекты были сильны и рѣзки. Всѣ го-рять въ яркомъ блескѣ стоящіе по берегу рѣчки тополи, и сосновый лѣсъ за ними затягивается хмурой глухой тѣнью; а черезъ мгновеніе горячимъ свѣтомъ обдастъ уже этотъ лѣсъ, а тополи дѣлаются сумрачными и темными, почти совершенно черными...

Свѣтлыхъ и радостныхъ тоновъ пейзажа Варвара Степановна какъ-то не замѣчала совсѣмъ, и тоскующей душѣ ея понятенъ былъ одинъ только сумракъ холодныхъ тѣней...

— Господи, какъ тяжело,—со вздохомъ прогонила она,—ссылка... хуже всякой ссылки...

— Comment? — неожиданно отозвался кто-то изъ-за высокихъ кустовъ ежевики, обрамлявшихъ рѣчку.

Варвара Степановна подняла голову.

Ветхонькій старичокъ въ коричневыхъ плисовыхъ шароварахъ и въ синей блузѣ сидѣлъ на берегу и удиль. Клобукова что-то неопределенно промычала и хотѣла пройти дальше, но старикъ привѣтливо снялъ шляпу и заговорилъ.

— Здравствуйте, mademoiselle!.. Прогуливаетесь?.. Что-жъ, погода сегодня не слишкомъ дурна, погулять пріятно... Не хотите ли вотъ поудить? Подсаживайтесь, mademoiselle, къ старичку...

Онъ говорилъ быстро и по старчески шамкал, и Варвара Степановна не сразу улавливала смыслъ его словъ.

— Подсаживайтесь, mademoiselle!

Старикъ ладонью разгладилъ подлѣ себя траву.

— Кабы это былъ Никанорыч!.. — подумала Варвара Степановна.

И не усаживаясь, и не уходя, она со странно-непріязненнымъ чувствомъ глядѣла на чуждое, бритое, какъ у актеровъ, лицо старика.

— А я вамъ сейчасъ удочку налажу,—несело продолжалъ старикъ, — оно довольно занятно...

Вѣдь вамъ, я такъ полагаю, порядкомъ таки скучно у насть?..

— Вуй,—съ печальной улыбкой отвѣтила Варвара Степановва.

— Еще бы! Чужая сторона...

Старикъ бросилъ быстрый взглядъ на воду и потомъ опять поднялъ глаза къ Клобуковой.

— Я, видите лв, считаю такъ: страна у насть не плохая, но только... кому ова чужая, тому здѣсь должно быть скучно.

Варвара Степановва стояла молча, в выраженіе грусти на ея лицѣ обозначилось еще сильнѣе.

— Да. Я вотъ восемьдесятъ третій годъ на свѣтѣ живу, а дальше чѣмъ за пятьдесятъ километровъ отъ своей деревни никогда ве уѣзжалъ... До города, до Шомона, шесть квлометровъ, да и то я больше десяти разъ въ немъ не бывалъ... Право. Дома лучше...

Старикъ пожевалъ губами в замолчаніе. Варвара Степановна все не отходила отъ него...

— А скажите, mademoiselle, въ вашу страну какъ ѿхать? Черезъ Испанію?

Варвара Степановва объяснила, какъ ѡдуть въ Россію.

— Ахъ, вотъ какъ! Ну, а я думалъ черезъ Испанію... Что жъ, Австрія тоже ничего... Хорошее мѣсто. Что вотъ не хорошо—это чужбинна.. У меня сынъ Эрвесть на чужбинѣ былъ, — въ плѣву, у

пруссаковъ. И что же вы думаете? Хочеть онъ виноградной водки въ кофе, и нельзя пруссаку сказать „виноградная водка“,—не пойметь. У него для этого совсѣмъ другое слово... И рыба, напримѣръ, у него уже тоже не рыба, а иначе. Все иначе...

Горестная усмѣшка искривила губы Варвары Степановны. Отъ участливыхъ, ласковыхъ словъ старика ей и пріятно было, и больно...

— Mademoiselle,—началь опять старикъ,—а съ землякамъ вашими въ городѣ вы еще не познакомились?

Варвара Степановна насторожилась.

— Comment?

— Вашихъ, говорю, земляковъ, въ Шомонѣ, не видали еще?

„Да что такое онъ говорить?—съ тревогой подумала Клобукона.—Развѣ въ Шомонѣ есть русские?“

— Эге, да ны нидно не знаете? — протянуль старикъ. — Какъ же это намъ не сказали? Вотъ народъ!.. Не знаютъ, что челонѣку нужно... Какъ же, въ Шомонѣ живутъ наши земляки, русские...

— Pas possible!—искрикнула Варвара Степановна.—Да вы увѣрены въ этомъ?

Старикъ сдѣлалъ обиженное лицо и пожалъ плечами.

— Parbleu!.. Я въ воскресенье быть нъ ихъ лавкѣ, внукамъ пляши покупалъ... Вы поѣзжайте

къ нимъ... На площадь префектуры пройдете, а тамъ налево улица Сади-Карно. Вы по ней подымитесь, домовъ пятнадцать минуте, тутъ сейчасъ же протягъ лицѣя шляпный магазинъ...

Варвара Степановна въ большомъ волненіи смотрѣла на старика.

„Русскіе... въ Шомонѣ... Ахъ, Боже мой!.. Но вѣдь это невѣроятно. Откуда они возьмутся въ Шомонѣ, въ небольшомъ городишкѣ, въ центральной Франції?.. Нѣть, это вздоръ... Старикъ путается...“

— Да... И чудесныя я шляпы купилъ. Дорого, но за то хорошія, настоящій фетръ... Этихъ земляковъ вашихъ изъ Россіи изгнали, — продолжалъ старикъ, кряхтя и протягивая впередъ замѣтвши ноги, — вотъ они сюда и приѣхали. Изъ вашей страны израелитовъ гонять, не хотятъ ихъ, ву, а мы ничего... У насъ они живутъ...

— Ахъ, такъ это жиды! — мысленно протянула Варвара Степановна.—Жидовы...

И, охваченная внезапно нахлынувшимъ чувствомъ негодованія, она быстро отошла отъ старика.

— У насъ они живутъ,—повторилъ тотъ, внимательно поглядывая на воду.—Ничего, шляпами торгуютъ... Зачѣмъ мы станемъ ихъ выгонять?... Фетръ настоящій... Содрали они съ меня здорово, но фетръ даля настоящій... съ лоскомъ... Я имъ рыбу буду продавать—тоже сдеру...

Только сдѣлавъ шаговъ пять, Варвара Степавовна опомнилась и сообразила, что поступила вѣвѣяливо; она повернулась лицомъ къ рыболову и, стараясь улыбаться и придать своему голосу оттѣнокъ ласковости, крикнула „ai revoir!..“

Варвара Степавовна не то чтобы вевавидѣла евреевъ. Никакихъ сколько-нибудь звачительныхъ столкновений съ ними у нея не бывало, никогда близко къ вимъ она не присматривалась, опредѣлевшихъ злыхъ дѣлъ за вими не звала, въ ясно соянанвой вражды питать къ нимъ не могла. Но она относилась къ вимъ съ превебрежительной насыпливостью, почти съ гадливостью...

Она считала ихъ существами противными, на-доѣдливыми, и вмѣстѣ со своимъ папой,—а, пожалуй, и вмѣстѣ со всѣмъ Мертвоводскомъ — знала и при случаѣ умѣла объяснять, что евреи все только торгуютъ и занимаются ростовщичествомъ, что они ёдятъ чесвокъ и какіе-то кугели, что они издаются злововіе и имѣютъ горбатые носы, и что, наконецъ, русскому человѣку отъ нихъ нѣть житья.

При видѣ еврея-оборвавца она зажимала носъ въ думала „пархатый“, а когда на бульварѣ или въ клубѣ встрѣчала евреевъ расфравчевыхъ, она смѣялась вадъ ихъ безвкусицей и говорила, что эти шелка и бархаты куплевы ва воровскія девыги...

И оттого, когда подъ этикетомъ „земляковъ“ ей преподнесли теперь именно этихъ „пархатыхъ“,

она почувствовала глубокое, досадное, почти оскорбительное разочарование.

Сладкая надежда,—надежда увидѣть русскаго человѣка,—не успѣла еще блеснуть, какъ уже и погасла..

И въ теченіе всего этого дня Клобукову давило смѣшанное чувство унынія, горечи и разѣдающей грусти. Точно она увидѣла въ газетахъ, что на ея номеръ палъ нѣ лотереѣ выигрышъ, а потомъ оказалось, что это опечатка, и выигрыша никакого не бывало..

— Нѣтъ, нѣ Шомонъ русскихъ нѣтъ... А между тѣмъ, вѣдь могло же случиться, чтобы они тамъ были... Даль, глушь, провинція,—это, положимъ, такъ, но вѣдь вотъ, занесло же ее, Клобукову, сюда; могло бы занести и другихъ... И какъ бы это было хорошо, какая бы это была удача!.. Было бы, съ кѣмъ встрѣчаться, съ кѣмъ отводить душу. Можно было бы ъздѣть къ этимъ русскимъ въ городъ, и они прїѣзжали бы въ замокъ. Совсѣмъ иначе пошла бы тогда жизнъ! Тогда у графини можно было бы оставаться долго, хоть годъ, хоть два... Какъ ни какъ, а жизнь въ замкѣ отличная. Можно тутъ и здоровьемъ поправиться, и заработать хорошо... Пожалуй, графиня жалованье бы унеличила. Она щедрал. Она вотъ даже *telle* Норцеліусъ свадебный подарокъ послала... Можно бы выписать материали для рукодѣлія, заняться фра-

цузскимъ языкомъ, русскій журналецъ какой-нибудь выпнать тоже...

— Да ужъ, конечно, можно было бы устроиться,— заключала свои соображенія Клобукова,— необходимы только люди, русскіе люди, хоть одна семья... А иначе тутъ пропадешь съ тоски...

До сихъ поръ ей и въ голову не приходило, что въ Шомонѣ могутъ быть русскіе; теперь отсутствіе русскихъ казалось ей чѣмъ-то страннымъ, почти несправедливымъ, и она готова была на это сердиться. Евреи, нѣтъ тѣ повсюду имѣются, ихъ вездѣ найдешь. А русскіе—неподвижные какіе-то, боятся съ мѣста сдвинуться, сидѣть у себя за печкой, и ни на шагъ...

Ночью, передъ тѣмъ какъ заснуть Варнара Степановна долго сидѣла на кровати и плакала.

Она думала о томъ, что родные поступили нехорошо, отпустили ее на чужбину. Надо было биться, мучаться, дѣлать займы, „все что угодно“, но ни за что не слѣдовало ее посыпать въ такую даль, нѣ этотъ ненавистный замокъ. Сжадничали родные, поступили, какъ эгоисты... Шесть дней письмо въ Россію ндеть, три границы переходить... Всю Швейцарію, всю Австрію... Ну, а вдругъ помрешь адѣсы! Никто вѣдь не застрахованъ, умереть каждый день можно, каждый часъ... И похо-

ронить некому будетъ... „Имъ“ хорошо, они себѣ тамъ неѣ имѣстѣ, а тутъ сиди одна... одна... и ни одного близакаго человѣка нѣть...

— Пойду я въ городъ къ этимъ жнамъ,—
рѣшила вдругъ Клобукова.

И чувство при этомъ было у нея такое, какъ будто она это дѣлала кому-то на зло или собиралась мстить.

— Что-жъ такое! И пойду... Ей Богу, пойду...

Окна ея спальни выходили въ паркъ и были открыты. Луна свѣтила ярко, и по кривымъ аллеямъ и по газонамъ протягивались неподвижныя, нѣмыя тѣни. Прудъ спалъ, спали деревья и птицы, и повсюду царила глубокая, ненозмутимая тишина...—„Какъ на кладбищѣ“, подумала Клобукова, „а я одиа... одна“...

Она слѣзала съ постели, погасила снѣчу и подѣла къ оконшку...

— Городъ тамъ, за лѣсомъ... Нѣшкомъ, и то въ полтора часа туда доберешься.

Варвара Степанонна сидѣла неподвижно, нысоко поднявъ брови, и глядѣла на лѣсъ.

Бѣло-зеленое шоссе, бѣжавшее къ городу, тянулось у опушки и отъ сосѣдства съ ея темной стѣной и теминымъ же лугомъ казалось какой-то волшебной, снѣтящейся полосой. Варвара Степанонна не сводила съ этой полосы глазъ...

— Здравствуйте, — тихонько нымолнила она

вдругъ, слабо улыбаясь. И, перемѣнвъ интонацію, сама же отвѣтила себѣ: здравствуйте...

Завтра она можетъ услышать, какъ скажутъ ей это слово другіе... И „какими судьбами“ скажутъ, и еще многое другое скажутъ... И она тоже будетъ говорить, много и долго, будетъ говорить по-русски!

— Отчего же мнѣ къ нимъ не пойти?—спрашивала она себя.—Отчего?.. Ковечно, пойду...

И на утро, какъ только она проснулась, первой ея мыслью было, что сегодня она ѿдетъ въ городъ, къ евреямъ.

„Ну, и жиды, ну, такъ что-жъ! Все же они какъ будто свон... А вдругъ они порядочные люди. Попадаются порядочные люди и между евреями. Вотъ докторъ Моргулисъ: его въ Мертвоводскѣ принимаютъ въ лучшихъ домахъ, овъ у генерала Скрипицына на елкѣ бываетъ... Очень порядочный человѣкъ, не хуже иного русскаго...“

Отъ девяти до десяти часовъ былъ сеансъ мас-сажа. И сейчасъ же послѣ него Варвара Степановна стала собираться въ городъ. Но такъ какъ почтальонъ второй обходъ свой дѣлалъ въ два часа, а въ книжкѣ у Клобуковой было отмѣчено, что сегодня, восемнадцатого октября, должны получиться два письма—отъ Семёва Иваныча и отъ тетки Аѳфисы,—то она рѣшила подождать.

Завтракала она съ аппетитомъ, и лицо у нея

было значительно менѣе пасмурное, чѣмъ въ предыдущіе дни. Она не переставала думать о Шомонскихъ евреяхъ и представляла ихъ себѣ именно такими, какимъ былъ Мертвоводскій докторъ Моргулисъ—опрятно одѣтыми, не очень картавящими, и совсѣмъ не горбоносыми...

Почтальонъ пришелъ въ свой обычный часъ, но писемъ Варварѣ Степановнѣ не было.

Эта маленькая, почти ежедневно повторявшаяся неудача всегда ввергала ее въ особенно грустное настроеніе... На этотъ разъ Клобукова перенесла ее довольно спокойно.

— Ничего, завтра будуть три письма,—и отъ Васи тоже.

Она торопливо надѣла шляпу и мантильку и отправилась въ городъ.

III.

Дорога пересѣкала цѣлый рядъ деревушекъ. Въ нихъ шла молотьба, и гулкій свистъ молотилокъ слышался безпрестанно. То и дѣло проѣзжали огромные нозы съ соломой или съ мѣшками зерна, и толстые, сильные кони, запряженные цугомъ по четыре, а то и по шести, выступали медленно, спокойно, безъ усилий.

Крестьяне раскланивались съ Варварой Степановной и вступали съ ней въ разговоръ. Она объяснялась весело, смѣло, хотя путалась и сбивалась

на каждой фразѣ, и громко смѣялась, когда, не понявъ собесѣдника, отвѣчала не нападь.

Она была въ странномъ настроеніи. Ей было хорошо и пріятно, и она знала, что самое пріятное и интересное еще только впереди... Но въ то же время она испытывала смутное и тупое чувство обиды отъ мысли, что вотъ ова идеть къ евреямъ...

Этотъ поступокъ казался ей дикимъ, нелѣпымъ и какъ бы увижаль ее въ ея собственныхъ глазахъ...

— Ужъ если съ жидами зиаться, то хоть бы они пришли первые. А то они сядутъ себѣ дома, а я за ними бѣгаю...

Варвару Степановну мысли эти коробили и смущали, но она отгоняла ихъ прочь и всѣми силами старалась не поддаваться испытывавшему въ ней чувству гнѣва.

— Что будешь дѣлать, — успокоивала она себя, — недаромъ хохлы говорятъ: „въ чужомъ городѣ собаку увидишь, неваче ріднаго батька“... Да и не могутъ же эти евреи прийти ко мнѣ. Откуда имъ знать, что я здѣсь?.. И кроме того, они и не посмѣли бы... Что за фамильярности! Вѣдь это только я такая мямя и такъ скучаю и нуждаюсь въ землякахъ. Другая на моемъ мѣстѣ ихъ и видѣть не захотѣла бы...

По мѣрѣ приближенія къ городу, чувство обиды

у Варвары Степановны все больше и больше ослабывало, уступая место приятному полнечию.

— Вотъ потѣха!—думала она. И безотчетная улыбка появлялась у нея на лицѣ.—Вотъ странно!.. Ужасно странно!..

И когда она входила уже въ городъ и пересѣкала желѣзнодорожный мостъ, вовая непріятная мысль внезапно сперкнула у нея въ головѣ.

— А что, если эти евреи вѣзахотятъ ее аватъ? Что если они холодно или даже грубо обойдутся съ ней? Вѣдь они изъ Россіи эмигрировали оттого, что имъ тамъ было плохо, оттого, что тамъ ихъ притѣсняютъ. Они, значитъ, Россіи и русскихъ не любятъ. Они, пожалуй, могутъ еще обидѣть ее, оскорбить...

— Не посмѣютъ!—испыхнула Варвара Степановна.

Но тотчасъ же она сообразила, что вспышка эта веумѣстна.

— Отчего же имъ не посмѣть? Чего имъ стѣсняться? Имъ тутъ бояться нечего.

И что-то вродѣ испуга охватило вдругъ Варвару Степановну... Опять, и сильнѣе, чѣмъ когда бы то ни было, она почунустроила себя одинокой, заброшенной, забытой, несчастной...

— И тетка Анфиса не пвшеть, и Вася не пишетъ.

Она остановилась. И въ глазахъ ея, устремлен-

ныхъ на высокое зданіе префектуры, откуда должна начаться улица Сади-Карно, появилось выраженіе печальное и жалобное... Минуты двѣ она стояла, не двигаясь.

— Нѣть, ничего! Пойду!—встряхнулась она.— Пойду! Будь, что будетъ!..

Торопливой походкой перерѣзала она переулокъ, потомъ площадь префектуры. И когда на желтоватой стѣнѣ высокаго углового дома показалась синяя табличка съ надписью: „rue Sadi Carnot“, сердце у Варвары Степановны дрогнуло.

— Значить, это правда! Значить, такая улица существуетъ!

И она съ особенно пріятнымъ чувствомъ смотрѣла на продолговатую синюю табличку, и эти бѣлые буквы точно улыбались ей и кланялись.

— Странно всетаки,—думала она, подымаясь вверхъ по улицѣ,—удивительно странно...

Сдѣлавъ шаговъ сто, Варвара Степановна поглядываясь съ лицемъ.

Самое зданіе стояло во дворѣ, позади большого сада; съ улицы же видны были только тяжелыя норота да узорчатая длинная рѣшетка. Клобукова быстро шла вдоль нея, и тѣни отъ чугунныхъ орнаментовъ беззвучно плыли по ея лицу и по груди.

Вотъ рѣшетка окончилась. Вотъ большой, сѣрий, съ балконами, домъ. За нимъ другой, бѣлый, и черезъ дорогу, на невысокомъ кирпичномъ зда-

ні, между мебельвой лавкой и складомъ велосипедовъ — узкая стеклянная днерь, а надъ дверью выйска „Chapellerie moderne“.

— Конечно, здѣсь, — вслухъ сказала Варвара Степанонна. — Здѣсь!..

Она перебѣжала улицу и, поднявшись на ступеньки, стала заглядывать внутрь магазина.

Небольшого роста, сутуловатый, тщедушный, совершенно сѣдой человѣкъ стоялъ за прилавкомъ и уныло смотрѣлъ透过 окно на улицу. У него было только одинъ глазъ, и изъянъ этотъ не вполнѣ маскировали большія круглые очки, косо стоявшія на короткомъ, мясистомъ носу. Лѣвой рукой человѣкъ этотъ держался за полку, ико уставленную шляпными коробками, а правой лѣниво барабанилъ по прилавку.

— Ну, развѣ не стравно? — думала Варвара Степановна. — Точно это дядя Афанасій Петровичъ, а я ему своимъ появлевиемъ собираюсь сдѣлать сюрпризъ.

Она толкнула дверь и, едва переступинъ черезъ порогъ, звучнымъ голосомъ не сказала, а вскрикнула:

— Здравствуйте! Ну, здравствуйте!..

Сѣдой человѣкъ за прилавкомъ какъ-то странно рванулся. Очки подпрыгнули у него на носу, и большія круглые стекла ихъ такъ и засверкали.

— Ой... что это? — испуганно воскликнула онъ.

И на мгновеніе онъ оцѣпенѣлъ.

Потомъ онъ быстро повернулся лицомъ къ темнокрасной портьерѣ за прилавкомъ и во весь голосъ заоралъ:

— Двойра! Двойра! Иди сюда скорѣе, Двойра!. Ой, посмотри, что тутъ дѣлается!

Обращеніе къ Двойрѣ было сдѣлано по-еирейски. И сердце Варвары Степановны улыбнулось отъ этихъ непопятныхъ ей, но хорошо знакомыхъ гортанныхъ звуковъ.

— Вы русская?.. Вы изъ Россіи?.. Вы давно изъ Россіи?.. —бросился стариkъ къ Клобуконой.—Ахъ, замѣчательно! Такъ вы изъ Россіи!.. Съ откудова же?.. Изъ какой губерніи?.. Изъ Таврической? нѣть?.. Изъ Херсонской?.. Ахъ, Боже мой!.. Вотъ необыкновенность! Вотъ рѣдкость!..

Онъ обѣими руками потрясалъ маленькую ручку Варвары Степановны и въ сильномъ волненіи продолжалъ выкрикивать:

— Знаете, мы тутъ живемъ уже одиннадцать лѣтъ, и я только въ третій разъ вижу русскаго человѣка. Только въ третій разъ. За одиннадцать лѣтъ!.. Га?.. Что вы на это скажете?.. Двойра! Иди же скорѣе! Ты посмотри, ты только посмотри, кто у насъ!

„Ну нѣть, здѣсь мевя не обидять“, думала Варвара Степановна, съ тихой улыбкой глядя на волновавшагося еврея. „Вотъ какъ онъ мнѣ обращался... Чудакъ какой!..“

Красная портьера заколыхалась, и въ лавку вошла Двойра — коротенькая полная женщина, одѣтая въ темно-коричневое платье. Лицо у нея было типичное, еврейское, — съ крупнымъ выгнутымъ носомъ и съ глазами на выкать. Она спокойно, съ холдной важностью, поклонилась Клобуковой и остановилась у прилавка.

— Русская же! Русская!..—въ носхищеніи указывала старикъ на Варвару Степановну.

Двойра насупилась.

— Чему ты такъ радуешься?—вполнолоса сказала она по-еврейски. — Наслѣдство получиль, что-ли?

Старикъ уставилъ на жену съ недоумѣніемъ. И черезъ секунду онъ снова обернулся къ Варварѣ Степановнѣ и затараторилъ:

— Моя фамилія Шапиро. Мы изъ Россіи.. Какъ же, мы изъ Кривой-Балки. Ну да! Мы жили въ Кривой-Балкѣ... А вы, позвольте спросить, какъ? Временно здѣсь? Проѣзжомъ? И долго еще пробудете? Ахъ! Вотъ замѣчательный случай... Просто необыкновенность!.. Но пожалуйте же въ комнату! Чего мы тутъ стоимъ? Пожалуйте, прошу васъ!

— И тутъ ей тоже не плохо, — сердито поджимая губы, проворчала по-еврейски Двойра. — Можетъ себѣ идти, откуда пришла.

Шапиро съ растеряннымъ видомъ взглянула на жену.

— А, да молчи ты!—пробормоталъ онъ тихонько, но очень выразительно.—Что это ты, Господь съ тобой?..

— Пожалуйте же, пожалуйте въ столовую! — громко звалъ онъ Варвару Степановну, бросаясь къ портьеръ и размашисто отводя ее въ сторону.—Ахъ, какъ же это такъ случилось, что вы такъ далеко заѣхали?.. Вотъ сюда пожалуйте, вотъ здѣсь садитесь... въ кресло, къ свѣту, къ окошку, прошу васъ!.. Двойра, проси же, ну!..

— Ну, садитесь, — угрюмо и какъ бы черезъ силу процѣдила Двойра.—Можно и посидѣть...

Всѣ трое, войдя въ столовую, усѣлись.

Варвара Степановна начала рассказывать, откуда она и какимъ образомъ очутилась во Франції.

— Ахъ, извините, пожалуйста!—вскочилъ вдругъ Шапиро.—Извините, что я васъ перебиваю... Я на одну минуточку... Надо приказать поставить самоваръ.

— Зачѣмъ самоваръ?—ниакимъ басомъ осадила мужа Двойра.—Не надо... на газѣ закипаетъ скорѣе...

— Э, нѣть же, Двойрочка! „На газѣ“! Развѣ ты не понимаешь? Русскій же человѣкъ! Надо ему чай изъ самовара!

— У насть нѣть угля,—буркнула Двойра.

— Угля нѣть?—Шапиро ухватился обѣими руками за голову и скорчилъ комически жалобную

гримасу.—У-ва, какое весчать!.. Развѣ можно въ городѣ вайти уголь? Развѣ это возможно? Уже въ городѣ сожгли весь уголь. Весь, до послѣдняго кусочка... Жоржета! Жоржета!—онъ бросился къ двери: — Жоржета, побѣжите скорѣй въ лавочку къ мосье Петижавъ и принесите скорѣй угля... И скорѣе ставьте самовары!.. И чтобы все въ одну минуту было сдѣлано, въ одинъ момент...

Приказаніе Жоржета Шапиро отдавалъ на какомъ-то веобычайвомъ, собственнаго издѣлія, франко-русско-еврейскомъ нарѣчіи. И, слушая старика, Варвара Степановна вѣ могла удержаться отъ улыбки.

— А вѣдь вичего себѣ этотъ еврейчикъ,—просилось въ ея головѣ,—гостепріимный, добрый, должно быть...

Чувство у Клобуковой, однако-же, опережало умъ, и оно и знать не хотѣло этого снисходитель-ваго това. Всю ее такъ и тянуло къ шумно-суетившемуся еврею и даже къ его хмурой и надутой половинѣ...

И, довольствая, возбужденная, она продолжала свой разсказъ о житьѣ въ замкѣ. Она говорила съ полвой откровенностью, ничего вѣ утаивая, и чувствовала себя при этомъ такъ, какъ если бы обращалась къ роднымъ, или къ давво и хорошо знакомымъ людямъ.

Двойра слушала гостю какъ бы нехотя и все

съ тѣмъ же неласковымъ и сумрачнымъ видомъ, а Шапиро не сводилъ съ Варвары Степановны глазъ и, какъ сама она, почти не переставалъ улыбаться...

По временамъ онъ терялъ самообладаніе и у него вырывались возгласы вродѣ: „Ахъ Боже мой!.. „Ну, ну!.. „Вотъ замѣчательно!.. И эти возгласы относились не столько къ рассказамъ Варвары Степановны, сколько къ тому удивительно пріятному и радостному настроенію, которое такъ неожиданно вошло къ нему въ душу.

Когда Клобукова заговорила о своемъ одиночествѣ и тоскѣ, она старалась придать своимъ жалобамъ юмористический оттенокъ. Но Шапиро, повидимому, хорошо понималъ, какая горечь и боль скрывается за этимъ юморомъ. Онъ съ грустнымъ лицомъ смотрѣлъ на разсказчицу, участливо вздыхалъ и покачивалъ головой.

— Ну да, ну да,—бормоталъ онъ,—что-жъ, такая даль... И непривычны же вы... И вы же дитё... Совсемъ дитё... Когда человѣка вотъ такъ вотъ забросить въ чужое мѣсто, такъ онъ самый несчастный на свѣтѣ...

IV.

Потомъ Шапиро сталъ рассказывать о своихъ дѣлахъ, о семье.

Сынъ его Соломонъ служитъ въ Ліонѣ на „са-

мой большой" шляпной фабрикѣ и онъ chef d'atelier. Дочь Дунечка очень хорошо учится и можетъ быть, Богъ дастъ, сдѣлается докторомъ. Теперь Дунечка гостить у брата въ Ліонѣ, а на дніяхъ она пріѣдетъ—„и вы уже увидите сами, какая она у насъ красавица и образованная“...

Когда рѣчъ зашла о дѣтяхъ, лицо Двойры стало менѣе хмурымъ, и она тоже вставила нѣсколько словъ. Мужа ея это подбодрило, онъ повеселѣлъ и сталъ говорить и смѣлѣ, и громче...

— Отчего-же вы покинули Россію?—спросила его Варвара Степановна.

Шапиро замялся.

— Такъ ужъ оно вышло.—И смущенная, виноватая улыбка появилась у него на лицѣ.—Я знаю отчего?.. Сдуру... Задумалъ... и уѣхалъ.

— Вамъ трудно жилось въ Кривой-Балкѣ?

— Трудно? — Шапиро повелъ бровями. — Не трудно... а такъ... Жилось, какъ всѣмъ живется... Только знаете... ну, какъ бы вамъ это сказать... вотъ, напримѣръ... рыба ищетъ, гдѣ глубже, а...

— Что ты тамъ сказки рассказываешь!—перебила вдругъ Двойра, шумно пододвигая стулъ и наваливаясь обоими локтями на столъ. — „Рыба ищетъ, гдѣ глубже“!.. Тебя про рыбу спрашиваютъ?.. Мы убѣжали изъ Кривой-Балки оттого, что нась тамъ разгромили. Вотъ вамъ и отвѣтъ!

— Ну, Двойра! Оставь это!—просительно и

почти испуганно сказалъ Шапиро,—оставь! Это не къ мѣсту теперь.

— Это всегда къ мѣсту! Что такое за секреты!.. Нечего оставлять!.. Сладко очевь вамъ жилось, вы думаете? Терпѣли, мучились, страдали всю жизнь... А потомъ пришли хорошие люди, ваши, русскіе, сдѣлали погромъ и все, что было въ домѣ, уничтожили въ одинъ мomeвтъ...

— Ну, уничтожили... Ну, ву... ву, такъ что?..— умоляюще проговорилъ Шапиро.—Ну, будеть объ этомъ...

— А его самого хватили утюгомъ въ глазъ,— повысивъ голосъ, продолжала Двойра,—и вотъ овь съ тѣхъ порь слѣпой. Вытекъ глазъ... Чего намъ было тамъ сидѣть, скажите, пожалуйста? Чтобы еще мучили? Мало вы думаете? Я думаю, что достаточно. Мы себѣ и уѣхали... Мы пустились въ Америку, но по дорогѣ вотъ у этого моего умника сталъ болѣть уже другой глазъ,—между обоями глазами есть мостъ, и когда болить одивъ, то отзывается и другой,—и вотъ онъ чуть было и совсѣмъ ве ослѣпъ. Мы дальше ужеѣхать не могли, и когда добрались до Шомона, то пришлось ему лечь въ больницу. А я съ двумя дѣтьми осталась прямо ва мостовой. Прямо хотѣ возьми, вытявшись и умирай, или бросайся подъ поѣздъ... Ну что? Что дѣлать?.. Только я вамъ скажу, что хоть тутъ люди, можетъ быть, и ве такие добрые, какъ въ

России... Не перебивай!..—крикнула вдругъ Двойра, бросая на мужа гнѣвный взглядъ,—не перебивай, я тебѣ говорю, молчи!.. Я, слава Богу, еще не сошла съ ума! Можно и меня тоже пустить слово сказать!..

— Тутъ люди намъ всетаки глазъ не выбивали,—продолжала она, обернувшись къ Варварѣ Степановнѣ,—и грабить насть не грабили тоже... Насъ подобрали и дали намъ работу—кошырки къ шапкамъ пришивать. Мы съ Соломономъ работали таки день и ночь, сперва кошырки, потомъ околышки, и когда вотъ этотъ мой президентъ вышелъ изъ больницы, то мы не только были сыты и имѣли свою квартиру, но успѣли еще сберечь семьдесятъ франковъ... Ну?..

Двойра подбоченилась и горделиво закачала головой.

— Что? Въ Россіи мы бы тоже могли это имѣть, да? Какъ вы думаете?.. И вотъ, съ тѣхъ поръ мы и устроились, и намъ, слава Богу, хорошо...

— Э, хорошо,—вполноголоса протянулъ Шапиро, печально поглядывая впередъ на развѣшанныя по стѣнѣ плюшевые рамки съ видами Шомона.

— Да, хорошо! Чтобъ ты таки зналъ, что хорошо... Въ Россіи онъ былъ портнымъ. Мы тамъ всю жизнь не переставали голодать. А теперь, посмотрите, какая у насъ лавка. Это не шуточка!..

И никто насъ не обижаетъ и не бьеть, никто намъ не мѣшаетъ жить, намъ не кричать „жидъ пархатый“. Мы тутъ, какъ люди, вотъ!..

Двойра выразительно развела руками и откинулась на спинку стула.

Выложивъ передъ Варварой Степановной все, что ей хотѣлось, она почувствовала себя облегченной... Угрюмая надутость съ лица ея сошла, и на немъ засвѣтилось выраженіе гордаго довольства и независимости.

Варвара Степановна глядѣла на еврейку какъ-то несмѣло, сбоку...

Въ первый разъ приходилось ей разговориться съ евреями, въ первый разъ выслушивала она ихъ внимательно и серьезно, безъ желанія передразнивать,—и горячія слова Двойры вызывали въ ней тихую печаль и какое-то неясное сознаніе упрека самой себѣ.

— А скажите, пожалуйста,—негромкимъ голосомъ заговорилъ Шапиро.—вы, должно быть, знаете, каковъ теперече у насъ, въ Херсонской губерніи, урожай?

— Плохо, кажется. Все выжгло...

— Опять выжгло!..

Двойра пренебрежительно вздернула плечами.

— Что же это такое будетъ?—задумчиво продолжалъ стариkъ,—ну, въ Кривой-Балкѣ есть кое-какая коммерція—хотя ужъ, конечно, какая те-

перь можетъ быть и коммерція!.. Но что же это будетъ въ деревняхъ?.. Въ Коренихъ, напримѣръ... въ Червонномъ... въ Старыхъ-Криницахъ...

На минуту наступило молчаніе.

— Будеть народъ нымирать,—со издохомъ отнѣтиль себѣ Шапиро.

— У - на! — подхватила Днойра, презрительно сжавъ губы.— А намъ горе большое!.. Пусть себѣ...

Шапиро порывисто поднялъ голову.

— Днойра!—простональ онъ, складывая на груди ладони.—Ну къ чему это? Къ чему это, я спрашиваю?!

И, обернувшись къ Варнаръ Степановнѣ, онъ сказалъ:

— Знаете,—это все одна комедія... Вотъ тутъ сидите вы, русская, такъ она хочетъ показать, что она на русскихъ сердится, и что она ихъ терпѣть не можетъ. А на самомъ дѣлѣ...

Шапиро съ грустной усмѣшкой покосился на жену.

— На самомъ дѣлѣ, она сама выдумала нашу дочку называть Дуней...

— Это ничего не значитъ,—сконфуженно сказала Двойра.

— Въ Россіи мы нашу дѣвочку называли по еврейски,—Бранка. И русскіе мальчуганы дразнили ее „болванка“, „поганка“, или другія тамъ разныя рнѣмы придумывали...

— Когда нужно обидѣть еврея, то русскій членъкъ умѣеть находить очень хорошія риѳемы,—истанила Двойра.

— И сколько нашу дѣвочку ни дразнили, а мы себѣ не обращали вниманія, и называли ее по нашему—Бранка. Но вотъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы за границей, жена и стала ее называть Дуней... Что? Можетъ быть, это неправда?

Двойра молчала. Чуть замѣтная печальная улыбка играла на ея полныхъ губахъ.

Варвара Степавовна смотрѣла то на Шапиро, то на его жену... Ей хотѣлось сказать имъ что-нибудь хорошее, ласковое, теплое, но почему-то было нелонко, и не сразу приходили слова...

А потомъ нкатилась нѣ в комвату Жоржета, круглая старушка француженка нѣ бѣломъ передникѣ и нѣ чепчикѣ, и поставила на столъ самоваръ и стаканы.

— Nous voici à Moscou maintenant,— дружелюбно запшамкала она.—Du thé, le samovar, une belle demoiselle... Ah, que j'aime la jeunesse!..

Двойра стала разливать чай. Она, повидимому, устала дуться, да и разоблаченія мужа сбили ее съ позиціі. Ея лицо постепенно утрачивало послѣдніе остатки угрюности и становилось все болѣе и болѣе привѣтливымъ.

Она церемонно, жеманнчая, угощала Варнару Степавовву, счастливая и гордая, что есть чѣмъ

угощала, настойчиво требонала, чтобы гостья положила въ стаканъ непремѣнно четыре куска сахару и усердно накладынала ей на блюдечко то вишневое, то абрикосовое варенье, то какія-то коричневыя, собственнаго издѣлія, медовыя пирожныя.

Разговоръ дѣлался все оживленнѣй и веселѣй и безпрестанно перескакивалъ съ одного предмета на другой. И о чёмъ бы ни толконали—о людяхъ-ли, о постройкахъ, о погодѣ или о фабрикаціи шляпъ,—все связывали съ Россіей и съ русскимъ...

У Двойры языкъ разнялся окончательно, и она тараторила громко и нараспѣвъ. Лицо Варвары Степановны, типичное, хорошее русское лицо, было съ румянцемъ, съ ясными синими глазами, со свѣжимъ, ласково улыбающимся ртомъ, располагало къ откровенности, и черезъ какіе-нибудь полчаса у Двойры отъ гостьи уже не было никакихъ секретовъ. Она разсказала ей о всѣхъ своихъ дѣлахъ, выложила всю подноготную... А Варнара Степановна говорила тоже, говорила и смѣялась, и, прислушиваясь къ своимъ словамъ и къ своему голосу, не узнавала его и внутренно ахала и изумлялась... Какъ все это неожиданно! Какъ же это странно! И какъ давно уже не была она нѣ такой пріятной и веселой компанией!..

Одинъ только Шапиро говорилъ теперь мало...

Раза три онъ ныходилъ нѣ магазинъ, къ покупа-

телямъ. И когда оттуда возвращался, онъ тихонько усаживался на стулъ и внимательно прислушивался къ стрекотаню жевщинъ... Лицо у него было задумчивое и ласково-печальное, и порою тихая, снисходительная улыбка появлялась за его безкровныхъ губахъ...

Двойра повела Клобукову осматривать комнату Дунечки, показала карточку дочери, ея книжки и тетради, и потомъ изъ шкафовъ и сундуковъ стала вытаскивать приданое... У Дунечки было уже четыре перкны, пятая готовилась, были: цѣлые дюжинны разныхъ видовъ сорочекъ и кофточекъ, куски шелка, атласа...

— Она говорить, что это ей не нужно,—объясняла Двойра,—она все обѣ учениі хлопочеть. Развѣ днѣ понимаетъ?.. Хотеть быть докторомъ—охъ! Съ большимъ удовольствіемъ! Но перина и доктору не мѣшаетъ.

— Будеть уже тебѣ, — останавливалъ жену Шапиро.—Спрячь тряпки, поговорите о чемъ-нибудь другомъ.

— Нѣть обѣ этомъ, обѣ этомъ, — шаловливо кричала Варнара Степановна, выкалывая изъ сундука новую пачку Дукечкаго бѣлья.—Ужъ вы, пожалуйста, намъ не мѣшайте, это наше дѣло, бабье...

— Конечно!—соглашалась Двойра.—А ты себѣ сиди и слушай.

И обѣ женщины долго еще перекладывали разные тряпки и болтали на перебой.

Варваръ Степановнѣ Двойра нравилась все больше и больше, и она думала теперь, что новая знакомая ея очень похожа—и виѣшностью, и характеромъ—на троюродную тетку Василису Ефремовну, благочиннху изъ Нонопокровска. И щеки такія же пухлыя и румяныя, и такъ же талія начинается подъ лопатками, и такъ же раскатисто и добродушно она хохочетъ... Смѣшная немного, но милая!..

V.

Часа полтора спустя Клобукова ваялась за шляпу и заявила, что уходитъ. Но Двойра, церемонно присѣдая и гримасничая, стала отнимать у нея шляпу.

— Положимъ,—тягуче говорила она какимъ-то страннымъ, сладенькимъ фальцетомъ,—положимъ, что мы васъ не отпустимъ, и вы останетесь съ нами поужинать. Сегодня же, кстати, и пятница.

Варвару Степановну приглашеніе это и обрадовало, и смутило. У нея не было ни малѣйшаго желанія торопиться въ замокъ, но ей неловко было такъ широко пользоваться гостепріимствомъ новыхъ знакомыхъ.

— Поздно будетъ возвращаться,—нерѣшительно возразила она.

— А зачѣмъ же вамъ возвращаться поздно, когда можно возвращаться рано?—лукаво улыбаясь, спросилъ Шапиро.

Варвара Степановна поняла его по своему и смущилась еще сильнѣе.

— Ну, да,—пояснилъ старикъ:—ваша графиня встаетъ въ девять часовъ, и если вы отсюда уйдете утромъ рано, то какъ разъ и поспѣете...

— Охъ, отлично!—всплеснула руками Двойра.— Самое замѣчательное дѣло!.. Самое подходящее!.. Вы будете спать въ Дунечкиной комнатѣ...

Черезъ полчаса всѣ трое размѣстились за парами, по праздничному накрытымъ столомъ. Го рѣли въ новенькихъ никелевыхъ подсвѣчникахъ шесть свѣчей и передъ ними, подъ бѣлоснѣжной, накрахмаленной салфеткой возвышались два большихъ калача.

Вечерняя трапеза по пятницамъ сопровождалась у Шапиро цѣлымъ рядомъ торжественныхъ церемоній. Теперь, ради гостьи, онъ дѣло значительно упростилъ и послѣ коротенькой, наскоро сказанной молитвы усѣлся на свое предсѣдательское мѣсто.

Подали рыбу—фаршированнаго карпа. За рыбой послѣдовалъ традиціонный бульонъ изъ лапши, потомъ курица и компотъ.

— А кугель гдѣ? — спросила Варвара Степановна.

Но Двойра объяснила, что кугель ёдять въ субботу, въ полдень, а теперь это лакомство только еще печется въ духовой.

— Кугеля вамъ вѣть, но змиресть вы всетаки будете пѣть,—заявила гостья Шапиро.

— Что это—змиресть?

— Это — субботняя пѣсня. Она поется между двумя блюдами, ва древне-еврейскомъ языкѣ.

— Ахъ, спойте, пожалуйста, спойте!

— Подтягивать будете?

— Буду, буду... Пожалуйста, начинайте.

Шапиро откашлялся, потеръ себѣ пальцемъ горло, какъ бы для того, чтобы его прочистить, и дребезжащимъ, козлинымъ голосомъ затянула прічудливую воссточную мелодію:

Кто субботу блюдетъ свято,
Кто чтить ее крѣлко,
Тому и будеть великая,
Чудесная награда...

— Ну, ну, помогайте же, ну!.. — толкала Клобукову Двойра, тоже не понимавшая ни одного слова изъ древне-еврейской пѣсни мужа.

Варвара Степановна открыла роть и съ выражениемъ робости и почтенія стала подтягивать... Въ теченіе минуты или двухъ въ комнатѣ стояла

удивительная какофонія... Но нотъ старикъ забраяся куда-то очень высоко и, сорвавшись, разразился веселымъ хохотомъ.

— Капельмейстера у насъ нѣту, оттого...—сообразилъ онъ.

Встали изъ-за стола поздно, въ десятомъ часу.

Отъ всѣхъ этихъ новыхъ и неожиданныхъ впечатлѣній Варвара Степановна чувствовала себя уставшей и какъ бы опьяненной.

V.

Жоржета погасила свѣчи, пожелала хозяевамъ доброй ночи и ушла спать. Двойра лежала на кронати и сладко потягивалась. Было тихо. Плотная бѣлая занавѣскѣ на окнахъ скрадывали лунный снѣтъ, и въ комнатѣ стоялъ прозрачный блѣдно-зеленый сумракъ...

— Ну? Что ты скажешь на всю эту исторію?— вполголоса спросила Двойра.

Шапиро сидѣлъ на кушеткѣ, у окна. Свѣтъ падалъ ему на спину, и сосредоточенное, печальное лицо старика задернуто было густою тѣнью.

— Всякія встрѣчи бываютъ, — неопределенно отвѣтилъ онъ;—была и такая...

— Прямо необыкновенная персона,—съ горячностью, но не повышая голоса, подхватила Двойра.— Такая ласковая, такая любезная... Просто, какъ родное дитѣ, честное слово!

— Она, должно быть, очень образована,—догадался Шапиро.—Знаешь... они нась мучать... но ихніе молодые люди, когда они хорошо образованы, такъ они такие хорошие, что лучше и на снѣтѣ нѣть.

— Такая простая, такая иѣжная!

— Помнишь, нъ Кривой Балкѣ, Васыль Ивановичь, сынъ священника... который потомъ въ Сибирь попалъ?

— Какъ она увидѣла Дунечкины каштъ-корсеты, съ шелковой вышивкой, съ кружевами, такъ она ажъ ахнула,—мечтательно уставившись на потолокъ, припомнила Двойра.—Ничего, пусть она таки знаетъ.

Шапиро не отвѣчалъ. Онъ сидѣлъ, положивъ ладони на колѣни и склонивъ голову на бокъ... Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи. Въ лицѣ, черезъ дорогу, башенные часы медленно, съ длинными паузами, пробили одиннадцать, и послѣдній ударъ звучалъ особенно долго и печально. Казалось, что, улетая изъ тѣсной и душной башни въдаль, къ свѣтлой лунѣ, звукъ и въ свободныхъ глубинахъ надыхаетъ по мрачному мѣсту рожденія.

— Знаешь, Днайреню, что я теперь себѣ думаю?—поднялъ голову Шапиро.

— Что?

— Я себѣ думаю такую нещь: что, если бы мы съ тобой тогда перемучились и изъ Кривой-Балки

не уехали, то наши, впримърь, внуки, или хоть, скажемъ, правнуки,—могли бы уже они жить тамъ спокойно, по-человѣчески?

Двойра беспокойно метнулась.

— А, старая пѣсня!—съ досадой сказала она.

Шапиро помолчалъ.

— Конечно, старая, — покорио согласился онъ потомъ.—Таки старая...

Онъ продолжалъ сидѣть, не шевелясь, и по прежнему голова его наклонена была къ лѣвому плечу.

— Передъ домикомъ, гдѣ былъ вашъ хедерь, всегда стояло болото,—не спѣша и тихо улыбаясьстыдливой, больной улыбкой, началь онъ,—а когда шелъ дождь, то дѣлалось цѣлое озеро, и мальчишки бродили въ немъ. Закатывали штаны до самаго паха и бродили... И я тоже бродилъ... А бабушка вытаскивала меня оттуда и била... Я ревѣль, въ бабушка тоже плакала и давала мнѣ лепешку... У меня были золотушныя опухоли на вогахъ, и въ водѣ я ихъ простуживалъ... Я не знаю: есть теперь этотъ домикъ... и это болото...

— Ложись уже, пожалуйста!—раздраженно прошептала Двойра.—Спи!

Шапиро не пошевельнулся.

Въ потолокъ что-то гулко стукнуло: ваверху, въ Дунечквной комватѣ, Варвара Степановна сбрасывала съ ногъ ботинки..

— Пятьдесят лѣтъ мы тамъ жили и работали,—печально и вегромко говорилъ старикъ.— Наши отцы, дѣды, прадѣды тамъ скончаны... и четверо дѣтей...

Двойра шумно отвернулась къ стѣнѣ.

— Ну чѣго ты хочешь! Къ чemu это?.. Тянеть, тянетъ... Ложись, я тебѣ говорю!

И сдавленныя слезы послышались въ дрожаніи ея голоса.

Шапиро вздохнулъ.

— Если бы пришло такое время... хоть для внуковъ... для правнуковъ...—беззвучно пробормоталъ онъ.

Двойра уже не отвѣчала.

„Дубиной по головѣ имъ дадутъ“, рвалось изъ ея сердца. Но она овладѣла собой и подавила слова. Она лежала неподвижно, закрывши одѣломъ голову.

Шапиро взглянулъ на жену... ему хотѣлось говорить съ ней еще... но онъ пожалѣль ее...

Онъ тихо всталъ и вышелъ во дворъ.

Здѣсь, подлѣ погреба, въ широкой тѣневой полосѣ, стояла большая кадка съ короткимъ, плотнымъ буксомъ. Деревцо это французы любятъ и охотно возвращаютъ, такъ какъ оно круглый годъ сохраняетъ листву и доставляетъ зелень для украшенія кладбищенскихъ памятниковъ. Съ вечера деревцо полили, и теперь, при яркомъ свѣтѣ луны,

ноданныя брызги на темныхъ листьяхъ сперкали зеленымъ огнемъ ивановыхъ червячковъ.

Шапиро присѣлъ на краешекъ кадки и обратился лицомъ къ небу.

Онъ скорбно смотрѣлъ сонимъ единственнымъ глазомъ на ясную, кроткую луну, освѣщавшую и этотъ чуждый Шомонъ, и ту далекую, печальную страну, въ которой лишили его другого глаза, въ которой находятся все родные ему могилы, и на которую онъ чувствовалъ такія прочныя, такія святыя права. Овъ смотрѣлъ,—и въ бѣдномъ сердцѣ его звучала исе та же старая, старая пѣсня: хоть для внуковъ... хоть для правнуковъ... хоть когданибудь...

Объ одномъ злодѣяніи.

Разсказъ.

Было еще совсѣмъ темно, когда извоачикъ Лэйзеръ, присѣвъ на грудь лохмотьевъ, служиншой ему постелью, зажегъ жестяную лампочку и сталъ одѣваться. Онъ одѣвался медленно, нехотя, кряхтя и кашляя, и то принимался чесать себѣ локтемъ бока, то терся спиной объ стѣну.

— Я знаю?.. Я знаю, что это будетъ?—мысленно говорилъ онъ себѣ. — Только Господь Всевышній можетъ знать. А человѣкъ чтѣ? Человѣкъ знать не можетъ.

Онъ всталъ и началъ молиться. И молясь, онъ думалъ не о смыслѣ произносимыхъ словъ, а все о томъ же: ненавѣстно, какъ окончится день, и нельзя знать, будутъ ли дѣти сегодня сыты.

Окончивъ молитву, Лэйзеръ надѣль армякъ, подпоясался ремнемъ и, переступая черезъ спавшихъ на полу дѣтей, направился къ двери. Но

здесь глаза его скользнули по полкѣ, по лежавшей на ней краюхѣ хлѣба, — и онъ смалодушествовалъ.

— Сося, — тихо и какъ бы вопросительно проговорилъ онъ, оборачиваясь къ женѣ, высохшой, сутуловатой женщинѣ, только-что слѣзшей съ печки и безмолвно усѣвшейся на перевернутой кадкѣ.

— Ну!

Это „ну“ отрезвило Лэйзера... Въ самомъ дѣлѣ, — что это онъ затѣялъ! Дѣти же вѣдь...

Онъ крякнулъ и шагнулъ къ двери.

— Такъ что же это ты себѣ думаешь? — вызывающе крикнула Сося. — Попадешь ты когда-нибудь на работу?

Лэйзеръ остановился.

— Развѣ я могу знать?.. Можетъ быть Господь и благословитъ...

— Ты ничего не можешь знать! Ничего! Другіе знаютъ же, другіе работаютъ же.

— А я что, не хочу работать? — Лэйзеръ грустно посмотрѣлъ на жену. — Что дѣлать! Бугъ сталъ, пшевицы не грузятъ, работы нѣть... Придеть кто-нибудь за однимъ извозчикомъ, и сейчасъ ныскакиваютъ двадцать...

— Выскакивай и ты.

— Я стараюсь. Я все дѣлаю...

— Ты ничего не дѣлаешь! Ты лайдакъ, ты

спиши на повозкѣ, ты никогда не будешь имѣть работы...

Лэйзеръ вздохнулъ и вышелъ.

Въ сараѣ стоялъ Храпунчикъ, бѣловатая слѣпая кляча съ длинной мохнатой мордой, съ узловатыми ногами, съ провалившимся, словно переломаннымъ, хребтомъ и съ широкими, плоскими, какъ тарелки, копытами. Спотыкаясь и путаясь въ упряжнѣ, Лэйзеръ в辚хнулъ лошадь въ оглобли, запрягъ и, ваявъ возки нѣ руки, выѣхалъ со двора.

Когда онъ былъ уже посреди улицы, во дворѣ раздались крики „татѣ, татѣ“, и нысокая жевская фигура, закутанная въ большой платокъ, подбѣживъ къ телѣгѣ, стала что-то совать ему въ руки.

— На, возьми! бери!

Лэйзеръ не браялъ и отвелъ руки назадъ.

— А дѣти?—нерѣшительно прогонорилъ онъ.

Пара большихъ, глубоко ввалившихся глазъ гнѣвно сверкнула въ едва дрогнувшей тѣмѣ.

— Ну такъ что жъ, что дѣти! Тебѣ ъсть не надо?

— Я попаду на работу, такъ и куплю.

— Не руби ты мнѣ мозги! „купить“!. А если на работу не попадешь?.. Цѣлый день не ъсть на холодѣ... Свалившись, что тогда будетъ!

Лэйзеръ закашлялъ, потомъ ваялъ у дочери ломоть хлѣба и двѣ луконицы и погиалъ свою клячу впередъ.

Бхать пришлось ленадой, по тонкой грязи; колеса уходили въ нее до половины спицъ, а ивогда, попадая въ яму, погружались и до оси. Лэйзеръ шелъ съ телѣгой рядомъ, въ критическія минуты подталкивалъ ее плечомъ и тянуль за колеса; лошадку онъ постоянно подбадривалъ, дергалъ возжами и уговаривалъ ие лѣниться:

— Нѣ, вѣ, веселѣче! Будемъ аѣвать, ве будемъ жевать, Храпунчикъ, ты знаешь хорошо!..

Когда добрались до замощенной Херсовской улицы, Храпунчикъ пошелъ живѣе. Лэйзеръ илѣзъ на поноаку, сѣлъ на край и ноги снѣсилъ винзъ. Тьма стала повемвогу таять, и уже были видны соломенные крыши изенѣкіихъ домовъ, черныя канавы и бакоиечевые, мѣстами поналинишіеся заборы. Вѣтеръ билъ Лэйзера въ затылокъ, а крупа, кружившаяся въ воздухѣ, садилась къ нему на бороду, на лохматыя брони, таяла и разливалась по лицу. Лэйзеръ досталъ изъ повозки мѣшокъ, сдѣлалъ изъ него капюшонъ въ иадѣль. Но вѣтеръ сейчасъ же сорвалъ капюшонъ, и какъ Лэйзеръ ни бился, а укрѣпить его ему вѣ удалось. Онъ положилъ мѣшокъ обратво въ телѣгу въ, ие пытаясь уже защищаться, покорно отдался злобной власти вѣтра въ колючей крупы.

— Ента у меня добрая,—думалъ онъ, ежась и постукиная сапогами о телѣгу,—привесла хлѣба.. Положимъ, миѣ хлѣба вѣ вадо. Разнѣ я могу его

ѣсть, когда не хнатаеть дѣтамъ? Теперь это для менн не хлѣбъ, а раскаленное желѣзо... Но только что? Если разсудить по настоящему, то развѣ че-
лонѣкъ возможно жить, когда онъ не єсть?.. На Іомъ-Кипуръ, напримѣръ, тоже не єши, постишь-
ся,—такъ нѣдѣль это только одинъ день... Накадунъ наѣшься хорошенечко, и потомъ сидишь себѣ нѣ
теплой синагогѣ и молишься... А миогіе, такъ они
такіе себѣ деликатные, что не выдерживають и
этого: они выхаютъ нашатырий спиртъ и выхо-
дятъ изъ синагоги на холодокъ, прогуляться, на-
примѣръ... А тутъ же, потѣ, вчера я легъ голод-
нымъ, и позавчера тоже не доѣлъ, и уже, можетъ
быть, больше двухъ недѣль, какъ сыть не былъ...
И все семействно голодно... Развѣ это шутка, когда
жена и столько дѣтей голодны? Пусть меня Богъ
не накажетъ за эти слова, только я сонсѣмъ не
понимаю, зачѣмъ все это такъ дѣлается...

Черезъ полчаса Лэйзеръ прїѣхалъ на биржу.
Посреди обширной, до ненѣроятности загажен-
ной площади, подъ высокимъ навѣсомъ, напоми-
нающимъ своей выгнутой крышей китайскія по-
стройки, находился старый, наполовину засыпан-
ный и давно уже заколоченный колодезъ, и около
этого колодца, по радиусамъ, располагались ломо-
ники. Теперь ихъ было здѣсь десятка два, и ионые
прибывали ежеминутно.

Лэйзеру удалось пристроить Храпуничка на

хорошее мѣсто, за нѣтромъ. Храпунчикъ, какъ только остановился, опустилъ сноу лохматую голову къ землѣ и сталъ искать сѣна. Но сѣна Лэйзеръ ему не далъ. Онъ накрылъ лошадку рядномъ, дружески погладилъ по лбу и по иданленвому хребту и отошелъ подъ навѣсъ. Долго, одвако, онъ тамъ не пробылъ: вѣтеръ сквозилъ и свисталъ между столбами навѣса и пронизывалъ насквозь. Лэйзеръ предпочелъ сквозняку крупу. Онъ нервничалъ къ Храпунчику и, взобранвшись на телѣгу, предался размышлениямъ.

— Вотъ, такъ вотъ идетъ человѣческая жизнь!.. Нужна человѣку работа — иѣть работы. Нужно человѣку єсть — нечего єсть. Человѣкъ не можетъ, какъ телеграфный столбъ, цѣлый день на дождѣ и вѣтре стоять, а онъ стоитъ. Ну? Какъ это понять?.. Я не могу это понять... Или ноть: даѣтъ мнѣ Богъ одиннадцать дѣтей, и пятеро изъ нихъ умерло, и умерли какъ разъ все мальчики. Мальчика можно отдать въ ученье, къ портвому, къ лудвильщику, куда-нибудь приказчикомъ. Мальчикъ можетъ помочь дать. А что дѣлать съ дѣвочкамъ? Какъ будешь ихъ выдавать замужъ?.. А Евта, когда Богъ меня уже благословилъ, и я достигъ выдать ее замужъ, что съ Ентои?.. Такая тебѣ выходить исторія: сходитъ ея мужъ съ ума, его забираютъ нѣ сумасшедший домъ, а ова съ двумя дѣтьми и беременная нозвращается ко мнѣ... Такія вовсе

дѣла... И были бы хоть ея дѣти здороны, — такъ нѣть и этого... Что? Себѣ самому я могу гонорить пранду, себя самого мнѣ нечего стыдиться: когда Шмилекъ кашляетъ, такъ у меня внутри все разрынается на куски, и когда онъ жалуется и просить ъесть, а ъесть нечего, то я таки плачу... Таки плачу, ну!.. Таки не могу удержаться, отворачиваясь въ кутокъ и плачу...

— Ты, задумчивый ангель!—гаркнуль за спиной Лэйзера только что подъѣхавшій извозчикъ, огромный рыжій неразила, по имени Шлёмка Гицель.— Посторониться не можешь, іолдъ!

Лэйзеръ пуглино оглянулся и пронорно подобралъ ноги. Гицель, скверно ругаясь, и по-еврейски, и по-русски, и колотя Храпунчика кулакомъ по шеѣ, стала устраинать свою телъгу.

— И отчего-жъ таки мнѣ не плакать,—продолжалъ думать Лэйзеръ,—отчего? Когда одного легкаго у Шмилека уже нѣть, а на ногѣ у него такая страшная рана, и она всегда горитъ... Надо Шмилеку рыбій жиръ, надо ему молоко, и для раны какую-нибудь хорошую мазь,—а ничего этого нѣть...

Лэйзеръ поднялъ голову и стала озираться.

Молока неподалеку было сколько угодно: молочный рядъ устьемъ упирался въ площадь и несъ видѣнъ былъ, какъ на ладони. По другую сторону площади сквозь сѣрую мглу смутно жел-

тѣли растопыренныя крылья золоченаго орла. Это аптека. Тамъ, конечно, есть и хорошая мазь для ноги, и рыбій жиръ, и разныя лѣкарства для легкихъ...

— Да, а только что же, когда Богъ не хочетъ, чтобы это было для насть... И чтобы я такъ не знать зла, какъ и не знаю, за что онъ на насть сердится... И что же, напримѣръ, будеть, если я таки въ самомъ дѣлѣ свалюсь? Вотъ и хочу ъесть, ужасно хочу ъесть.

Лайзеръ нащупалъ за пазухой хлѣбъ и луковицы, пососалъ языкъ и плювуль.

— И я озябъ, и вотъ у меня потекла за воротникъ по голой спинѣ вода... Ну что, развѣ я мѣдный? Таки заболѣю... Миѣ по настоящему надо бы теперь сѣсть свой хлѣбъ и зайти себѣ въ „Англію“, взять чаю, или тамъ таракинъ жареной, и поддержать себя,—а иѣть возможности... Такъ ъесть хочу, что душа изъ тѣла уходить,—а нѣть никакой возможности...

Ноги у Лайзера озябли до того, что онъ ихъ не чувствовалъ. Чтобы отогрѣться, онъ усилинио скребъ пальцами подошву, — но это не помогало. Онъ спрыгнулъ съ повозки и прижался притаптывать.

— Уй-уй, какъ холодно! Какъ страшно холодно... Можно бы зайти въ „Англію“—вродѣ какъ будто поискать кого,—и пока что погрѣться; только вѣдь

можно же проезжать нанимателя... Воть какъ на зло всегда выходитъ: сторожиши, какъ собака на цѣли, цѣлую ведѣлю, и не является никто, а иа пять минутъ отойдешь—и со всѣхъ сторонъ народъ повалить... Надо терпѣть...

Въ началѣ десятаго на биржѣ появилась еврейка, въ казакивѣ, въ мужскихъ сапогахъ, и объявила, что ей нужны четыре извоачика перевозить мебель.

Мгновенно ва ванимательницу накинулось человѣкъ двадцать, и гвалтъ ва площади поднялся такой, какъ если бы кого-нибудь не фигулярно только, а самымъ подлиннымъ образомъ рвали на куски.

Лайзеръ тоже полѣзъ было въ толпу, во двое здоровенныхъ дѣтинъ отбросили его прочь, и онъ, не смѣя уже возобновлять свою попытку, стоялъ позади всѣхъ и, подымая кверху руки, задыхаясь, крвчалъ:

— Вотъ я! вотъ я! Я поѣду, я!.. я!..

Но еврейкой въ это время овладѣлъ Шлемка Гицель. Овъ схватилъ ее за поясъ и поволокъ къ своей телѣгѣ.

— Вамъ четырехъ извоачиковъ ве надо,—грѣмѣль овъ,—будеть съ васъ двухъ. Ёду я и вотъ— мой товарищъ... Мы сдѣлаемъ по дѣвѣ конца.

— Да пустите меня... Не хочу въ два ковца,

это будетъ долго. Теперь дни короткіе. Я хочу все сразу забрать.

— Чего долго! Ничего не долго!.. Галопомъ поѣду... Садись на повозку, ну-на!

— Да пустите! Постойте!

— Зачѣмъ стоять? Стоять некогда! Дни короткіе. Садись, балабуста, садись. Я-жъ и знакомый тебѣ, знаю, гдѣ ты живешь—на Рыбной улицѣ.

— Вовсе ве на Рыбной,—на Узенькой.

— А мнѣ бѣда большая, если на Узенькой! Ну, голпъ! Садись! Живо, вихремъ!

Общій крикъ сдѣлался еще пронзительнѣе. Извозчики всей стаей напали на Гицеля и стали его ругать за то, что онъ не „по правилу“ забираетъ клиента...

— А чтобы вы сгорѣли, мамзеры проклятые! Инь глотки!

Послѣдоваль рядъ крѣпкихъ словъ.

— Ну, чортъ съ вами. Айда мѣряться!

Гицель подбросилъ квуть, другой извозчикъ подхватилъ его посрединѣ, и потомъ всѣ, желавшіе ъхать, стали охватывать кнутовище указательнымъ и среднимъ пальцемъ, какъ вожницами. Кто окажется наверху, тотъ и поѣдетъ.

Лэйзеръ тоже сунулся къ кнутовищу, но Гицель локтемъ толкнулъ его въ грудь.

— Брысь! куда лѣзешь!

Съ Лэйзеромъ это продѣлывали всегда, когда

„мърялъсъ“, и это было одной изъ причинъ, по которымъ онъ такъ рѣдко попадалъ на работу. Слабый физически и кроткий духомъ, онъ не умѣлъ за себя постоять и отступалъ сразу. На этотъ, однако, разъ на помощь къ нему пришла сама начальница.

— Нѣть пусть и онъ,—приказала она.

— „Равнинша“? Ко исѣмъ чертамъ! У него лошадь дохлая.

— Ничего, пусть.

— У него лошадь еще для постройки Соломонова храма камень возила.

— Если онъ не будетъ мѣряться, никого не возьму.

Стиль Гнцеля, его разбойничья рожа и сноебразность тѣлодвиженій пугали еврейку. Она была увѣрена, что онъ раскрадетъ и перебьетъ полонину мебели. И остальные извозчики донѣрія тоже ей не внушали. Одинъ только Лэйзеръ казался похожимъ на человѣка, и ей очень хотѣлось, чтобы онъ поѣхалъ.

— Знать не хочу! Пусть мѣрится!—настанинала она.

Ободренный Лэйзеръ опять полѣзъ въ толпу и протянуль къ кнутовищу озябшіе пальцы.

„Господи, сдѣтай, чтобы я былъ наверху!—съ сердечнымъ замѣраніемъ молвилъ онъ.—Помоги мнѣ!.. не для меня, для Шмилека“...

Господь Шмилеку покровительствовалъ, и молитва Лейзера была услышана.

Какъ только двинулись въ путь — первымъ шель Гицель съ нанимательницей, потомъ два другихъ извозчика и позади всѣхъ Храпунчикъ,— такъ сейчасъ же Лейзеръ вытащилъ изъ-за пазухи хлѣбъ и луковицы и въ дна-три приема проглотилъ... Точно въ яму все провалилось.

— У-ва! какъ єсть хочется! — проговорилъ онъ, подбиная съ армяка крошки.— Страшнное дѣло, какъ хочется єсть... Ну, ничего! До нечера потерпимъ, а вечеромъ все будетъ. Покушаемъ себѣ хорошо... Очень хорошо покушаемъ... Нѣ, нѣ, Храпунчикъ, веселѣче!

Пріѣхали на Узенькую улицу.

Мебель еврейки оказалась такая нелѣпая и громоздкая, что укладывать ее на возы было особенно трудно. Сперва вытащили какой-те шкафъ, отъ котораго, пока его несли, отскакивали и шлепались на землю полки и дверцы; потомъ поволокли два огромныхъ ободрянныхъ, пудовъ по пятнадцати каждый, дивана. Затѣмъ послѣдонала корявая конторка, кресла безъ ножекъ или безъ сидѣній... Все это извозчики таскали съ крикомъ, съ гамомъ, съ руганью; а еврейка бѣгала за ними, ужасалась, охала, упрашивала...

Лэйзеръ тоже суетился и вывосиль вещи полегче. Извозчики не совсѣмъ были неправы, когда не хотѣли брать его въ свою компанію. Чахлый и слабосильный, съ ветхой кляченкой и дрянной телъгой, онъ бытъ для нихъ невыгоднымъ компаньовомъ.

— Это развѣ извозчикъ? Это раввинша,—говорили они о немъ.

И дѣйствительно, для работы „серезныхъ“, для грушки хлѣба, напримѣръ, Лэйзеръ не нанимался и самъ. Его специальностью было отвозить съ базара покупки—нѣсколько пудовъ антрацита, сотню арбузовъ, пустыя бочки, или что-нибудь въ этомъ родѣ.—Нагрузи его телъгу какъ слѣдуетъ—она разсыплется, лошадь упадеть и хлопотъ съ нимъ не оберешься... И, исходя изъ этого соображенія, извозчики и теперь тяжелой, „хорошей“ мебели на телѣжку Лэйзера не ставили, а украсили ее кухонной рухлядью да тѣмъ движимымъ, которое хояйка хранила въ сараѣ...

Въ половинѣ второго нагружка была окончена, и процессія тронулась. Опять во главѣ пошелъ Гицель, а послѣднимъ Лэйзеръ.

Теперь валилъ уже снѣгъ; вѣтеръ нѣсколько притихъ, но измѣнилъ направленіе и сдѣлался холоднѣе. Храпунчикъ плелся медленно, вытягивая впередъ мохнатую голову и дѣлая ею такія движенія, какъ будто говорилъ: „да, да, я согласенъ.“

Онъ звонко хлопалъ плоскими копытами по жидкой грязи и посіялъ каждыхъ двухъ-трехъ шаговъ выказывалъ явное желаніе остановиться. Но Лэйзеръ этого желанія не раздѣлялъ и, сопя и кашляя, какъ самъ Храпунчикъ, не переставалъ ему напоминать, что если „захочешь зѣвать, то не будешь жевать“.

— Да, вотъ такъ, вотъ оно и есть, вотъ,— бормоталъ онъ.—Лошадь, напримѣръ, такъ ей еще хуже, чѣмъ человѣку. Человѣкъ,—вотъ, положимъ, какъ я,—когда проголодается, такъ онъ сейчасъ начнаетъ думать, что у него дома жева и дѣти не ъли,—и въ моментъ его голодъ исчезъ. Уже ты дай мнѣ обѣдъ, какъ у самого барона Гирша, и я его ъсть не стану. Уже я сыгъ! совершенно сыть, вполнѣ! А лошадь, такъ она этого ие понимаетъ. Ей надо, чтобы съюно было, и конченъ баль... Нѣ, Храпунчикъ, веселѣече... Уй, уй, какъ, однако, хочется ъсть! Ажъ кареты въ животѣ разъѣжаются, ей Богу!. Тоже вотъ можно и въ обморокъ упасть тоже. Развѣ долго? Вовсе не долго...

— Ты, оловянная птица!—гаркнулъ впереди Гицель,—чего отстаешь? Вмѣстѣ съ Мессіей прїѣхать думаешь, что ли?

— Веселѣе, Храпунчикъ, веселѣе.

Лэйзеръ изволнованно задергалъ воожами.

— Нѣ, поѣзжай... А сегодня Сося ругаться не будетъ: когда Богъ благословитъ и принесешь ей,

напримѣръ, пятьдесятъ копѣекъ и кварту молока,— а то еще и двѣ кварты,—такъ ова дѣлается добрая... Она очень добрая, честное слово! Только съ горя и съ голоду она кричить. Всѣ кричать, когда голодны... Уй, какъ я ъѣсть хочу... Никогда въ жизни еще не былъ такъ голоденъ. Прямо огнемъ кишки палить... Это онѣ знаютъ, что есть заработка, такъ и строятъ себѣ штуки...

Около мостика, переброшенаго черезъ городскую канаву, подъ жидкимъ слоемъ сѣроватой глины, было подобіе мостовой, и повозка Лэйзера отъ этого стала подпрыгивать, а находившіеся на ней предметы—раскачиваться и громыхать. Одна кадка наѣхала на другую, ухватъ и кочерга, торчавшіе изъ нихъ, куда-то провалились, а широкій топчанъ шлепнулся на какой-то ящикъ и сталъ медленно скатываться...

— У! еще надѣлаю шкоды!

Встревоженный Лэйзеръ подбѣжалъ къ возу и началъ умащивать вещи.

Когда онъ, пыжась и отдуваясь, налегъ грудью на топчанъ, а руками поддерживалъ готовый свалиться перерѣзъ, пальцы его вдругъ погрузились во что-то липкое и холодное...

— Ну, это что за коммерція?

Лэйзеръ посмотрѣлъ въ перерѣзъ.

Тамъ, среди полудесятка пустыхъ горшковъ и всякой кухонвой посуды, стоялъ котелокъ, до краевъ ваполненый жаркимъ.

— Тю! Такое вовсе!.. Совсѣмъ кушавье?!

Озадаченный Лэйзеръ съ удивлениемъ смотрѣлъ то на свои растопыренные, смоченные соусомъ пальцы, то въ перерѣзъ, въ котелъ.

— Вовсе кушавье...

Овъ опустилъ руку къ армяку, замѣреваясь ее обтереть, во вдругъ передумалъ и вложилъ пятерню въ ротъ...

— У-ва! хорошо!.. И пахнетъ... У-ахъ, какъ хорошо!.. до невозможности.

Лэйзеръ сосалъ пальцы, чмокалъ и жмурился.

— Замѣчательно... Ну, вадо теперь котелъ накрыть... Гдѣ тутъ покрышка? А, вотъ!.. Съѣхала себѣ въ сторону... Надо накрыть... А то вѣдь все расхлюпается, пропадетъ все...

Лэйзеръ закрылъ жаркое и отошелъ въ сторону.

— Ухъ, какъ пахнетъ!.. Что это такое туда кладутъ, что такъ хорошо пахнетъ?.. Корицу?.. Должво быть, корицу.

Повоzка попала вдругъ въ глубокую рѣтвицу и опять послышалось дребежаніе горшковъ.

— Ну, вотъ тебѣ мостовая!.. Ничего себѣ мостовая... Съ такой мостовой можно же всѣ горшки перебить и можетъ же расплескаться вся подливка.

Чтобы она не расплескалась, Лэйзеръ со всѣхъ сторонъ сталъ сдавливать котель горшками. Операция эта удалась вполнѣ, но рука Лэйзера при этомъ снова погрузилась въ соусъ.

— Нѣть, это не корвца,—сказалъ онъ, облизывая пальцы.—Навѣрное не корица... Духъ совсѣмъ не тотъ... А хорошій духъ! Уй-уй, какой хорошій... И если это такъ пахнетъ, когда холодное, то что же будетъ, если разогрѣть?.. Совсѣмъ райскій вкусъ будетъ... Ей Богу!.. И вотъ что—я таки теперь припоминаю; я такое жаркое когда-то уже ъль... Навѣрное ъль... только у кого?

Лэйзеръ нложилъ иѣ ротъ картофелину.

— Да, капля иѣ каплю, точно такое ъль... Я таки знаю это напѣрное. Только гдѣ и когда—не могу вспомнить... А ну, я кусочекъ мяса попробую... Маленький кусочекъ, косточку... Ай, ай, какъ вкусно... Всѣ вкусы тутъ... расходится по жиламъ, какъ хороший бальзамъ... Удивляетъ меня, что я не могу вспомнить, у кого это ъль!.. Прямо досадно... Могу поклясться, чѣмъ угодно могу поклясться, что ъль, а гдѣ—не знаю.. Совершенно такое же... И это пахнетъ, и тогда тоже пахло... А-а! Это не корица! Это лавровый листы! Это вонсе лавровый листы! Лавровый листъ и гвоздика!.. Конечно, лаяровый листы!.. А я думалъ, что корвца... Вотъ дуракъ! Таки настоящій дуракъ, ей Богу... Гноздика—такъ она же совсѣмъ другой

духъ имѣть. Гиоздика—она иродъ какъ перецъ. Ты думаешь, что перецъ, а раскусишь—и ионсе гиоздика... Ахъ, замѣчательно! Это же только на сиадѣбѣ можно такое ъсть, честное слово!..

Рассуждая такимъ образомъ, Лэйзеръ продолжалъ умащивать горшки,—лѣвой рукой. Праину же онъ то погружалъ въ котелокъ, то подносилъ ко рту.

— Ага-га-га!.. Вспомниль!.. Таки испомниль... Это же я у мусю Цыпоркеса такое кушанье ъль!.. Ну да, конечно... Я тогда приозильт ему иино съ парохода—онъ же исе изъ Одессы себѣ выписываетъ, — и меня позвали на кухню и угостивли... Ну да, у мусю Цыпоркеса... Большой челоиѣкъ мусю Цыпоркесь, магиатъ. Синнья, но магнатъ... Только что же это, ей Богу, я соисѣмъ не понимаю: у мусю Цыпоркеса было тогда обрѣзаніе, такъ у него могло быть такое жаркое. А это же простая еврейка... Что такое ея мужъ? Приказчикъ на лѣсной!—и она въ будни, въ простой четвергъ, дѣлаетъ такое жаркое... Вотъ, такъ вѣсть наши евреи и любятъ: заработаютъ рубль, а проживутъ три. Шарлатаны.. А русскіе отъ этого воображаютъ, что всѣ евреи ужасно богаты, и за это нась бываютъ. Изъ-за такихъ иотъ расточителей нась и ненавидятъ... Видаль ты такое? Лавровый листъ? Она безъ лавроваго листа не можетъ! Паскудница такая... Ну, а только я тоже хороши: совсѣмъ и

позабыть, где быть такое жаркое. Га?.. Что ты на это скажешь? Воть исторія!..

Мостоная данно кончилась, телъга пошла ровнѣе, горшки уже ве дребезжали и стояли спокойно, но Лэйзерь все еще вхъ умащивал...

Овъ въ послѣдній разъ просунулъ руку къ котлу, сгребъ прилипшія ко дву картошкѣ, обсаль начисто пальцы и, накрынъ старательно котель крышкой, отошелъ къ сторонѣ...

Впереди, на разстояніи полуквартала, одна за другой, тянулись первыя три телъги, и подлѣвъ нихъ, съ лампой и одной рукѣ и зеркаломъ въ другой, высоко подоткнувъ юбки, шагала хозяйка.

— Ой! А если она спохватится... Ой, Боже мой!..

Лэйзерь замеръ.

— Эй, нѣты!.. „Спохватится“... Чего ей спохватиться? Воть такъ и другъ, сразу и спохватится?.. Ничего не будетъ! Пріѣду на мѣсто и сейчасъ снесу всѣ горшкѣ, заставлю кадками — и готово... А какъ сѣду со двора, тогда пусть она себѣ и спохватывается. Поди, ищи меня тогда, кусай въ поясницу... Э! ничего и беспокоиться... Что она, судиться со мной будетъ? У иен есть сидѣтели?.. Я ея ве боюсь!.. Такой она на�ный нахмистръ, чтобы я боялся?.. иисколько не боюсь... Псн!..

Извозчики успѣли уже нацоловину разгрузить первую телѣгу, когда Храпунчикъ доползъ, наконецъ, до мѣста назначения.

— А, сухая кишкa! — привѣтствовалъ Лэйзера Гицель. — Еще не издохъ.

Лэйзеръ молчалъ. Внутри все у него трепетало и дрожало мелкой дрожью. Глаза не смотрѣли ни на кого, и языкъ точно распухъ...

Онъ поспѣшилъ развязать веревки, которыми укрѣпленъ былъ на его телѣгѣ скарбъ, и суетливо сталъ его носить... Черезъ нѣсколько минутъ дѣло было уложено: всѣ горшки и котлы стояли въ узкомъ проходѣ между печью и стѣной, спереди замаскированы кадкой.

— Ну, теперь готово! Теперь неопасно! Теперь вотъ снесутъ только диваны — и конченъ, конченъ балы!.. Храпувчикъ, ничего! Накушаешься сегодня замѣчательно...

Уже вся мебель была составлена. Извозчики вытирали испотѣвшіе лбы, поправляли упряжь на лошадяхъ и располагались уѣзжать. Ждали только расплаты.

— Мадамъ! пожалуйте разсчитываться, — привѣтствовалъ Гицель запропастившуюся куда-то хо-зяйку. Онъ имѣлъ намѣреніе получить за чай, и сдѣлался галантенъ.

— Мадамъ, гдѣ вы? Пожалуйста, мы ждемъ. Потрудитесь!..

И вдругъ произошло нѣчто совсѣмъ иепонятное.

Мадамъ, какъ бомба, выскочила изъ крыльца и, потрясая надъ головой пустымъ котломъ, заорала:

— Арестанты!.. Жулики!.. Махшемойики!.. Чтобы вы поздыхали, проклятые!.. Вы думаете, я вамъ буду молчать! Вы думаете, это вамъ пройдетъ даромъ! Шарлатаны, каторжники!..

— Ого!—весело отозвался Гицель,—умѣешь! Въ моей гимназіи учились, что-ли?

— Я тебѣ покажу гимназію, чтобы ты почервѣль!.. Я тебѣ покажу!..

И, показывая собиравшимся изъ крикъ жильцамъ пустой котель, еврейка продолжала:

— Такие жулвки, такие прохвости! Я нарочно вчера еще сдѣлала жаркое, думала, сегодня съ перевозкой не поспѣю, думала, какъ перевезутъ мебель, у сосѣдей нагрѣю и будетъ дѣтямъ готовый обѣдъ, а эти иегодяи слопали!.. Все слопали!.. Ну! Ну!.. Что я теперь должна дѣлать?..

— Сварить другое,—услужливо посовѣтовалъ Гицель.

— Другое?!. А я вотъ вычту съ тебя, такъ ты и будешь зиатъ „другое“, каторжники!.. Мнѣ жаркое въ полтора рубля обошлось, ты мнѣ за него заплатишь!..

— Я заплачу? Я?

Гицель подошла къ еврейкѣ поближе.

— А это вотъ,—такъ, по совѣсти, если тебя спросить,—ты видала?

Онъ поднесъ къ ея лицу шаршавый, величиной въ небольшой арбузъ, кулакъ.

— Кто твое жаркое ъль — иа здоронье ему!— пусть онъ и платить. А со мной ты эту политику брось... Восемь гривенъ подавай!—вдругъ загремѣлъ онъ звѣринымъ голосомъ.—И четвертакъ на чай, за диваны!..

Крикъ иа дворѣ стоялъ еще долго.

Еврейка безстрашно твердила свое и собиралась вычесть полтора рубля; извозчики же, вдохновленные этимъ обѣщаніемъ, поминали родителей и располагались выбивать зубы и стекла...

Лейзеръ стоялъ нѣсколько въ сторонѣ, позади Храпунчика. Въ злодѣяніи своемъ онъ не признался. Запираться, однако же, тоже не запирался. Онъ стоялъ молча, повурый, блѣдный, и только по временамъ порывисто поднималъ голову, испуская какой-то странный звукъ, — и потуплялся опять...

— Нѣтъ, одинъ человѣкъ сожрать не можетъ, это немыслимо!—размахивала руками еврейка.— Четыре фуита мяса, приварокъ... Надо имѣть ие животъ, а рундукъ, чтобы это выдержать... Всѣ вмѣстѣ жрали, махшемойники проклятые...

Оковчилось дѣло тѣмъ, что тремъ извозчикамъ

хозяйка заплатила полностью, и даже на водку прибавила, а Лэйзеру не дала ничего.

— Старый человѣкъ,—кричала она ему, когда онъ съѣжалъ со двора,—сѣдой человѣкъ, а дѣлаетъ такое синчество! Надо вать въ часть отпрянуть, только мнѣ паскудиться не охота...

Уже темнѣло. Снѣгъ пересталъ и нѣтъ стихъ тоже, но начинался сильный морозъ. Мокрый армякъ Лэйзера скоро окаменѣлъ, и тарелкообразныя копыта Храпунчика уже не шлепали по лужамъ, а гулко стучали о мерзлую землю...

Когда черезъ часъ Лейзеръ подѣжалъ къ своему жилью, издали, изъ непроглядной тьмы, послышался радостный возгласъ.

— Да будетъ восхвалено Его святое имя!..
И Сося поспѣшно приблизилась къ телѣгѣ.
— Ну? Сколько?

По тому, что Лэйзеръ прїехалъ поздно, она знала уже, что онъ на работу попалъ. И въ теченіе добрыхъ двухъ часовъ она съ Ентои и другими дѣтьми обсуждала, успѣютъ ли еще сѣять въ мясную за требухой, чтобы сварить супъ. Полагали, что успѣютъ...

— Давай же сюда молоко,—сказала Сося, наваливаясь грудью на телѣгу.—Не перенерни только, темно.

— Нѣту молока.

— Не купилъ? Ну ничего! Фейгочка къ Мудре-
цехъ сбѣгаешь, Мудреца довѣрь поздно.

— Я не работалъ сегодня.

Нѣсколько секундъ длилось молчаніе.

— Га?

— Никто вѣ приходить наливать... Что ты хо-
чешь?.. До сихъ поръ ждалъ на биржѣ... Ни сумас-
шедшеръ собаки вѣ видио...

Лэйзеръ отпрыгъ Храпунчика и поставилъ ва-
мѣсто. Лошадь немедленно принялась шарить по
сторонамъ, ища обѣщанныхъ съ утра лакомствъ.
Но тряпкообразныя губы ея истраивали однѣ лвѣшь
холодныя доски...

Черезъ полчаса Лейзеръ лежалъ на кучѣ тря-
покъ и ладонями сжималъ себѣ голыя ступни.
Ему казалось, что ступнямъ отъ этого теплѣе.
Сося и дѣти лежали на своихъ мѣстахъ и, чтобы
не чувствовать голода, силились заснуть. Всѣ мол-
чали. Только маленький Шмилекъ, лежавший съ
матерью на ветопленной печкѣ, тоненьkimъ, сип-
лыимъ голоскомъ монотонно тянулся:

— Немножко молока, ма-а-ма!

— Молоко будеть завтра, Шмилекъ, завтра.

— Молока... Я хочу молока-а-а...

— Завтра, сыночекъ, завтра... Завтра будеть и
молоко, и супъ... Хорошій супъ, съ мясомъ, съ
курицей.

— У меня сердце горитъ... Молока-а-а...
Ента не отвѣчала.

— Я ёсть хочу, молока-а...

— Ну ша, ша... ну что дѣлать? ты голоденъ!
Всѣ же голодны, всѣ не ъли... И воть дѣдушка,
старый и больной, и весь день на холодѣ и на
дождѣ былъ, и тоже нѣдѣльничего не ъль...

Лэйзерь перевернулся на свое мѣсто. Онъ
не то исхлипнулъ, не то икнулъ,—въ носъ ему
ударилъ сладостный запахъ гвоздики и лавроваго
листа.

«Немножечко въ сторону».

Очеркъ.

I.

Когда книгу пишутъ замѣчательную, такую, по которой учиться, просвѣщать сной умъ будуть тысячи, а можетъ быть, и десятки тысячъ людей, то писать ее надо на бумагѣ хорошей.

И Сауль Ароновичъ, когда надумалъ составить ключъ къ учебнику французскаго языка Марго,— выбиралъ бумагу нѣлавочкѣ Ривки Мудреца и нимателно и долго. Выбравъ и купивъ, онъ черезъ часъ принесъ бумагу обратно и перемѣнилъ на другую. По зрѣломъ размысленіи, однако, онъ пришелъ къ выводу, что ее опять слѣдовало бы обмѣнить на первую; но, вспомнивъ, что Ривка женщина голосистая и бравая, Сауль Ароновичъ новыхъ обмѣновъ устраивать не сталъ, а просто купилъ еще двѣ дести первой бумаги и на этотъ разъ успокоился почти окончательно.

Затѣмъ онъ пріобрѣлъ учебникъ Марго, послѣдняго изданія, нѣсколько грамматикъ; обстоятельныхъ и полныхъ, и съ волненіемъ, вполнѣ соотвѣтствовавшимъ важности предприятия, приступилъ къ работѣ.

— Это замѣчательная идея! — гонорилъ онъ: — Марго? Отлично! Но если бѣдный человѣкъ не можетъ наять себѣ учителя, — много ли ему дастъ Марго?.. Тогда, значитъ, какъ? Значитъ, абсолютно преграждается путь къ просвѣщенію?.. А вотъ, когда будетъ ключъ, всякий сможетъ учиться самостоительно: возьметъ Марго, возьметъ ключъ — и gotteno... И цѣль достигнута!

Языкъ Саула Ароновича и при будничныхъ обстоятельствахъ не лишенъ былъ тонкихъ красть, въ эту же минуту онъ думалъ фразами особенно неликолѣпными.

— Мой часъ насталъ! Моя путенодная звѣзда меня уже не обманетъ!..

Нужно сказать, что до тѣхъ поръ путенодная звѣзда эта Саула Ароновича обманынала часто и жестоко.

Она, напримѣръ, принела его въ городокъ Вознесенскъ и инущила открыть здѣсь школу для еврейскихъ мальчиковъ. Сауль Ароновичъ глубоко нѣрилъ, что школой этой онъ „восполнить пробѣлъ“ и принесеть населенію „ощутительную пользу“... И очень скоро, однако же, долженъ быть сознаться,

что мечтания его ве оправдались, и что польза онъ приносить неважную.

Въ этомъ убѣждало его, въ особенности, общественное мнѣніе.

— Замѣчательное носпитаніе ны даете дѣтямъ,— строго ныгонаринала ему мать одного изъ учениковъ:—это прямо что-то особенное.

— А что такое?

— Вы еще спрашиваете?.. Вчера мимо вѣсъ проѣзжала свадьба, такъ Іоська выбѣжалъ ва улицу, сталь показывать кукиши и кричать „тю“... Красиво это? Скажите сами!

— Это очень некрасиво и очень печально. Но что же вы желаете отъ меня?

— Я знаю, что я желаю?.. Я ничего вѣ желая... Я желаю намъ сказать, какое замѣчательное носпитаніе ны даете... Какъ биндюжникъ...

Фронмъ-Беръ, жестяникъ, негодональ — сонершено, впрочемъ, неосновательно — на то, что его мальчику набиваютъ голову чортъ знаетъ чѣмъ.

— Цѣлый день, какъ сумасшедшій, болтаетъ: „столъ, столамъ, столу, столы“ — тошно слушать. Склоненіе?.. На что мнѣ склоненіе? Я, знаете, баринъ себѣ ие большой, чайники дѣлаю. Мнѣ надо, чтобы Мендль умѣль сосчитать и записать—больше мнѣ ничего не надо.

Бакалейщику Штоку надо, чтобы ученики Саула Ароновича дѣлали военные прогулки, какъ

гимназисты, непремъинно опоясанные цветными кушаками и съ барабаномъ. Онъ желалъ бы еще, чтобы мальчика его въ школѣ обучали на флейтѣ.

Рѣзникъ Нухимъ предоставляетъ Саулу Ароновичу полную свободу на дѣлѣ устройства прогулокъ, сонершенно раннодушенъ и къ духонымъ инструментамъ, но строго требуетъ порки.

— Порядочныхъ дѣтей можно не бить, а моихъ сволочонъ сквозь строй гнать надо. Каждый день снимайте съ себя ремень и дерите ихъ на чёмъ снять стоитъ... Какъ можно крѣпче!.. Вы-жъ учитель, я не понимаю, вы-жъ деньги берете... Что, я другого еще для этого долженъ нанимать или какъ?

— И это называется „приносить пользу“, когда каждый день съ себя ремень снимаешь? — уныло спрашивала себя Сауль Ароновичъ...

Педагогические запросы родителей были многочисленны, разнообразны и пестры. И, предъявляя столь необыкновенные требования, клиенты Саула Ароновича отъ платы за учение ноздерживались съ чрезвычайной стойкостью. Бѣдняки не платили по бѣдности, богачи — по соображеніямъ высшаго порядка.

— Мой Жоржикъ,—говорилъ, напримѣръ, господинъ Цыпоркесъ, жирный, бритый, постоянно потный „аристократъ“, богачъ, владѣлецъ никокурни и цѣлой сѣти кабаконъ:—за мой Жоржикъ

вы должны брать на одинъ рубль въ мѣсяцъ дешевле: такй онъ способный.

И когда Сауль Ароновичъ пытался объяснить, что ему это весовсѣмъ удобно,—господинъ Цыпоркесъ выражалъ досаду:

— Э, что вы тамъ морочите!.. Развѣ вы что-нибудь понимаете? Для васъ это отличваго ревоме, что мой сынъ будетъ къ вамъ ходить. Всѣ скажутъ: ужъ если господинъ Цыпоркесъ свой мальчикъ туда отдалъ, такъ значить это таки хороший учитель...

Трудно сказать, раздѣлялъ ли Сауль Арововичъ взгляды господина Цыпоркеса на этотъ предметъ. Фактъ, однако, тотъ, что брать онъ съ него дешевле, чѣмъ съ другихъ, не столь высоко поставленныхъ обывателей... При этомъ Жоржикъ оказался мальчикомъ характера чрезвычайно играваго. Однажды на глазахъ всего класса онъ укусилъ своего ментора за руку. Сауль Ароновичъ, относившійся вообще философски ко многимъ непрѣятностямъ, на этотъ разъ не выдержалъ и отправился къ Цыпоркесу съ жалобой.

„Если ученики будутъ кусать учителя за руку,—разсуждалъ онъ,—какой же будетъ престижъ?“

— У, онъ васъ укусилъ?!— вскричалъ господинъ Цыпоркесъ, выслушавъ Саула Ароновича:— ахъ, шарлатанъ! Что-жъ вы одѣлали: постановили его хоть изъ уголь, оставили безъ обѣда?

— Нѣтъ, но я пришелъ просить васъ, чтобы вы лично его наказали.

— Да, да, хорошо. Я ему обязательно накажу... Я ему сейчасъ убью!.. Жоржикъ! Жоржикъ!.. Поплатить мнѣ сюда Жоржикъ!

Жоржикъ пришелъ.

— Ты что, подлый мальчикъ, вовсе кусаться выдумалъ, шарлатанъ?

Жоржикъ молчалъ и весело ухмылялся.

— А ну-ка, какъ я тебя примусь кусать, сволочь!.. Вы на него, Сауль Ароновичъ, не смотрите, вы его наказывайте, я вамъ даю полны пранъ. Наказывайте ему, какъ собаку, я буду очень довольный... Слышишь ты, Жоржикъ, ты хоть слышишь, что я говорю?

Но Жоржикъ, очевидно, былъ занятъ другими мыслями:

— Папа, дай мнѣ двѣ копѣйки, я хочу зыгу купить,—сказалъ онъ совершенно беззаботно.

— Ну, вотъ... Ахъ ты мараавецъ! Двѣ копѣйки я тебѣ дамъ? Холеру я тебѣ дамъ! Вотъ, что я тебѣ дамъ!.. Пошель ты вонъ, жулики!.. Вотъ, вотъ такие они сегодня всѣ, всѣ до одинъ...

И господинъ Цыпоркесь принялъся энергично нападать на „севоднешнево поколѣніе“. Потомъ сталъ разнивать свои взгляды на учебное дѣло и, наконецъ, началъ опять превозносить необычайные способности своего Жоржика. Здѣсь и Сауль Аро-

новичъ счель нужнымъ вставить слово и тоже похвалилъ Жоржика.

— И меня удивляетъ, — перебилъ господинъ Цыпоркесь, — что съ такой золотой головкой онъ вовсе не дѣлаетъ у васъ аспѣхъ! По нѣмецкому онъ ничего не знаетъ. Я его спрашиваю: — „вильстъ-ду-филайхъ бессеръ абиссель инь-ди-гимназіумъ гелернть?“ — а онъ мене по-еврейски отвѣтъ „ю“? Хорошее дѣло!.. Я вамъ деньги плачу за то, чтобы вы его по-еврейски учили?.. Что, онъ самъ не умѣеть по-еврейски? Мнѣ его образованіе кроны стоять!.. Не умѣете учить, такъ зачѣмъ беретесь?

Высокія ноты и сурово сдвинутыя брови Цыпоркеса въ Саулѣ Ароновичѣ исегда вызывали недолимое стремленіе укрыться. Поэтому онъ и на сей разъ вышелъ отъ господина Цыпоркеса со всей возможной торопливостью, не посмѣвъ и закинуться о деньгахъ, слѣдовавшихъ за четыре мѣсяца ученія.

II.

Когда блеснула у Саула Ароновича мысль писать ключь — изумленію его и восторгу не было конца.

— Такъ, слѣдовательно же, я буду авторъ!.. Я, значитъ, напишу книгу... и по моей книжѣ люди будутъ учиться, будутъ увеличивать свои умственныя познанія!.. Да, нѣтъ это значитъ быть полез-

нымъ человѣкомъ! Вотъ это значить приносить обществу пользу!..

И, обдумавъ свое новое предпріятіе всесторонне, во всѣхъ мелочахъ, и сдѣлавъ всѣ необходимыя приготовленія, онъ привялся писать задуманную книгу.

Въ каморкѣ его не было жарко; во у него имѣлось отличное одѣяло на ватѣ, и, когда онъ въ него закутывался хорошошенько, особенно если съ ногами, онъ могъ просидѣть и часъ, и два, и почти вовсе не чувствовать холода.

Кромѣ того, онъ считалъ, что разныя тамъ материальныя неудобства, если къ обязанностямъ своимъ отвсються добросовѣстно, не могутъ имѣть важнаго значенія. Оаябвешь— чаю напьешься, вотъ и все. Гораздо существеннѣе были другія неудобства, неудобства, вытекавшія изъ самаго характера работы. Было, напримѣръ, очевидно, что нужно необходимо снабдить грамматическими примѣчаніями. Между тѣмъ, Саулъ Ароновичъ, намѣреваясь письменно изложить какую-нибудь мысль,—хотя бы, напримѣръ, разницу между опредѣленнымъ членомъ и неопредѣленнымъ,—испытывалъ вестернныя муки творчества. Всѣ существующія и отлично ему известныя слова вдругъ куда-то исчезали, и оставалось одво только „въ случаѣ, когда“.

„Въ случаѣ, когда“ онъ на бумагѣ выведеть и разъ, и дна, и пять разъ вынедеть, а то слово, ко-

торому приличествовало бы находиться въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ этимъ „въ случаѣ когда“, никакъ не приходить. Постепенно припоминаться начинаютъ другія слова—и часто слова красивыя и выразительныя, но того, которое полезно въ данную минуту,—нѣть и нѣть...

— У меня на палитрѣ мало красокъ,—съ грустью думалъ Сауль Ароновичъ,—что жъ дѣлать?.. Конечно, это трудно, но вѣдь это же не маленькое дѣло—книгу написать. Это же не то, что дѣтей буквы азъ—ба учить. Вѣдь это трудъ! книга!.. Тутъ надо взвѣсить каждый оборотъ, каждое слоено... Но за то жъ я теперь дѣлаю весьма полезное дѣло!.. Кто можетъ сказать въ точности, сколько головъ просвѣтится моимъ трудомъ?..

Часто, почти каждую ночь, по окончаніи работы, пускался Сауль Ароновичъ въ сладостный мечтанія о громадной полезности своего „труда“, засыпая, скрюченный калачикомъ подъ грудой лохмотьевъ, и отогревая ладонями иззябшія, влажные ступни...

III.

Около года проработалъ онъ надъ ключемъ, и все шло отлично.

Отъ долгаго сидѣнія, стала у него усиливаться кривиана позвоночника, временами надоѣдливѣ становился кашель, и сильно шумѣло въ головѣ,

но все это было неважно. Сауль Ароновичъ ко всяkimъ болѣзнямъ привыкъ, а организмъ свой изучилъ до тонкости и лѣчить его умѣлъ отлично. Діэты онъ держался неуклонно, зимою пилъ рыбій жиръ, лѣтомъ—парное молоко, а вату въ ушахъ, въ необходимомъ количествѣ, сохранялъ круглый годъ и круглый же годъ не снималъ съ шеи теплаго гаруснаго шарфа. Время отъ времени ставилъ онъ себѣ за уши мушки, подъ лопатки—горчичники и банки, а грудь натирали кротоновымъ масломъ. И средства эти дѣйствіе оказывали всегда несомнѣнное, хотя, впрочемъ, не всегда желанное...

— А между тѣмъ, несомнѣнъ тотъ фактъ, что, когда я углубленъ въ свой трудъ, такъ я во-все никакихъ болей не чувствую!—заявлялъ себѣ самому Сауль Ароновичъ.

И онъ былъ доволенъ, и ему было хорошо...

Но, непрочно человѣческое счастье!— и надъ головой Саула Ароновича стала собираться совершенно неожиданная гроза.

Въ сосѣдней губерніи произошелъ погромъ, одинъ изъ первыхъ по времени, да и по значительности тоже. Заnimъ, съ совершенно ненужной поспѣшностью, послѣдовалъ другой, потомъ третій, четвертый...

Люди, спугнутые съ своихъ мѣстъ, разоренны, обнищавшіе, бросились въ разныя стороны, и

ноть, въ Вознесенскѣ тоже очутилось вѣсколько бѣглеонъ. Между ними оказался нѣкій глухой меламедъ, долговязое, чахлое существо, съ несклочевными пейсами и дливвой, огненнаго цвѣта бородой. Пріѣхавъ, онъ тотчасъ же принялъся отбивать у Саула Ароновича учениконъ, и за первую недѣлю набралъ ихъ съ десятокъ.

Онъ былъ членыкъ тонкій и гдѣ чѣмъ взять надо—зналъ отлично. Здѣсь разскажетъ пріятую новость о томъ, что баровъ Гиршъ у русскаго правительства еврееинъ откудааетъ,—даетъ сто миллионовъ, а правительство требуетъ двѣсти двадцать пять. Тамъ, исполняя порученіе хозяйки, принесеть инь рѣзницы мясо. Въ третъемъ мѣстѣ дѣтей въ баню снодить. А то просто станетъ, со слезами на глазахъ, рассказывать о претерпѣнныхъ бѣдствіяхъ и ужасахъ... И все это сильво помогало ему.

— Плохо! — думалъ Сауль Ароновичъ. — Какъ разъ теперь мнѣ вужно спокойствіе, какъ разъ теперь въ трудѣ отвѣтственныхъ мѣста пошли, требующія сосредоточенаго объединенія всѣхъ умственныхъ силъ, а тутъ явился этотъ меламедъ. Въ даниое времѧ овъ мнѣ сонершевно не соотвѣтствуетъ...

Но меламедъ не спрашивалъ себя, соотвѣтствуетъ ли онъ... И потому не проходило недѣли, чтобы нѣ школъ Саула Ароновича не появлялось ионаго опустѣншаго мѣста...

— Ну, что дѣлать? Ему тоже надо жить,—
утѣшалъ себя Сауль Ароновичъ.—У него семейство... Но только, въ сущности, оно какъ-то со-
всѣмъ странно выходитъ, что изъ-за какого-то глу-
хого меламеда должно пострадать общее благо...
Водовозъ требуетъ за ноду, хояйка за квартиру,
Ривка Мудреца прекращаетъ кредитъ въ лавоч-
кѣ... Это все мелочи, конечно, но... работу онѣ таки
весъма затрудняютъ...

Къ тому же въ это время, вслѣдствіе погро-
мона, иѣ еврейской массы пробудилось и съ си-
лой заговорило чувство национального самосознанія, и она усиленно обратилась ко всему своему—
къ своей религії, къ своимъ обрядамъ, къ своему
языку; и отъ этого замѣчавшееся прежде пренебрежительное отношеніе къ старозавѣтнымъ мела-
медамъ исчезло. Меламеды даже въ моду входить
стали, и глухой конкурентъ Саула Ароновича,
благодаря своимъ специальнымъ дарованиямъ и
репутаціи членонѣка, пострадавшаго отъ погрома,
находился въ условіяхъ исключительныхъ. Въ его
хедерѣ становилось съ каждымъ днемъ все тѣснѣе.

— Минъ этотъ меламедъ доподлинное роковое
несчастье! — думалъ Сауль Ароновичъ: — ходить
выпрашивать учениковъ это—уннайтельно, но что
дѣлать?.. Если бы я былъ одинъ, если бы я не
писалъ труда, конечно, я могъ бы прислушинаться
къ голосу собственного достоинства. А при теку-

цихъ условіяхъ нечего разсуждать. Надо себя отложить иемвожечко въ сторону и таки вадо вемножечко вагвуться...

И онъ, какъ и меламедъ, сталъ обивать пороги, просилъ, клявчишъ, гдѣ неопасно было—насташвалъ... Но толку изо всего этого ве выходило ивакакого, число учевиковъ не возрастало.

— Положеніе дѣлается оковчательво критическімъ,—смущевво говорилъ Сауль Арововичъ.

Смущеніе его перешло въ вастоящій ужасъ, когда, пересматривая однажды ключъ,—совсѣмъ уже отдѣленные и готовые къ печати параграфы, онъ нашелъ въ нихъ цѣлый рядъ ошибокъ: въ одвомъ мѣстѣ цевѣро было согласованіе, и въ другомъ неправильно употреблевъ былъ Subjonctif, въ третьемъ перепутаны роды...

— Ну, это уже совсѣмъ Богъ зиаетъ какое прискорбное явленіе! — вскричалъ Сауль Ароновичъ:—это же не дай Богъ! Прежде я работаль гораздо лучше, а послѣднее время отупѣль... И немудрево,—когда столько горя, столько хлопотъ!..

И онъ въ тоскѣ метался по классу.

— А между тѣмъ, если бы я ъль каждый девъ сунъ—тогда бы и въ моемъ труда ошибокъ не было. Но когда питаніе состоянть изъ одной картошки, такъ и голона не можетъ работать интесивно... И все этотъ меламедъ вивой... Что мнѣ съ вимъ дѣлать?..

Сауль Аронович устроилъ энергию въ дѣлѣ ныпрашиванія учениковъ: онъ сталъ теперь обращаться не только къ бывшимъ своимъ клиентамъ, но и къ людямъ, совершиенно ему незнакомымъ. Однако, дѣла продолжали идти изъ рукъ вонъ скверно, и мѣсяца черезъ два у Саула Ароновича не было уже и картошки, а въ школѣ остановились только тѣ учевики, которыхъ онъ подрядился готовить въ прогимназію.

— По крайней мѣрѣ, этихъ меламедъ уже не отобьетъ!—говорилъ себѣ Сауль Ароновичъ.

Но онъ ошибся: отбиль меламедъ и этихъ.

Въ городкѣ проживалъ кандидатъ правъ, нѣкто Рапопортъ. Овъ былъ еврей и, по разнымъ обстоятельствамъ, употребленія изъ диплома сноего не могъ сдѣлать никакого. Уже третій годъ хлопоталъ онъ о мѣстѣ въ хлѣбной конторѣ, а въ ожиданіи кое-какъ перебивался мелкими урочками. Глухой меламедъ задумалъ этого Рапопорта пригласить къ себѣ въ помощники и, пригласивши, отправился къ господину Цыпоркесу добиваться аудіенціи.

— Что вамъ надо?—строго спросилъ Цыпоркесъ.

— Конечно, кто есть знаменитый человѣкъ, у того и дѣла, и мысли знаменитыя,—началь меламедъ,—а если кто нибудь есть человѣкъ маленький и пустячный...

— На завтра ваше предисловіе. Говорите въ короткомъ видѣ!

— Такъ что теперь,—вы тоже можете вашего мальчика ко мнѣ въ училище отдать,—заторопился меламедъ, приступая уже прямо къ дѣлу.

— Зачѣмъ такъ?

— Черезъ то, что теперь у меня вовсе не воючай хедеръ, какъ вы исегда гонорите, а тоже классъ.

— Почему?

— Я нанялъ господина Рапопорта, кандидата правъ киевскаго університета святого Владимира.

— Онь у васъ учить?

— Да, у меня... И ариеметику, и грамматику, и математику—все!

— Вотъ какъ! А французскій и яўмецкій?

— Тоже. Съ однимъ словомъ—все. Кандидатъ правъ же! Изъ киевскаго же университета!

— У-ва! большое дѣло,—строго висупившись, сказалъ г. Щипоркесь и рѣшилъ отдать своего сына меламеду.

— Для васъ это важнѣе, чѣмъ вашъ кандидатъ правъ,—заключилъ онъ:—мой сынъ дастъ вамъ репутацію...

Сауль Ароновичъ былъ сраженъ окончательно.

Почти вся его школа расположилась. А между тѣмъ, домохозяинъ на него уже подалъ въ судъ, топливо вышло, лавочница же Ривка Мудреца вязла съ мѣста въ карьеръ и, когда Сауль Ароновичъ проходилъ мимо,—выскакивала изъ лавочки на улицу

и, сколько силь было, кричала, что онъ—жуликъ и арестантъ, и что она съ него сдереть пальто, если онъ къ субботѣ не дастъ ей хоть полтора рубля...

Цѣлую недѣлю педагогъ не зажигалъ лампы, но каждый вечеръ вынималъ изъ сундука свои тетрадки и, не видя ихъ, впопыхахъ, перелистывалъ, расправлялъ, переворачивалъ...

— Подлый, проклятый меламедъ! Теперь бы я уже закончилъ трудъ... теперь бы я уже набѣло переписывалъ... я бы уже печаталъ...

И тяжелые, горькіе вздохи раздавались въ сыромъ сумракѣ убогой каморки...

IV.

Скоро на Саула Ароиновича свалилась новая бѣда: къ нему на ревизію пріѣхалъ инспекторъ народныхъ училищъ.

Инспекторъ этотъ былъ человѣкъ не злой, и его визиты обыкновенно проходили довольно благополучно. На этотъ, однако, разъ инспектора уже задѣли „вѣянія времени“, и онъ рѣшилъ „попенелить немножечко просвѣтителя изъ васихъ“. Начальъ онъ сравнительно благодушно,—съ легкихъ упрековъ за то, что „нѣть яшталки“; во потомъ вошелъ во вкусъ и поднялъ крикъ и за немытые полы, и за грязныя стѣны, и за дымъ, и за отсутствіе вентиляціи.

Сауль Аронович стоялъ ни живой, ни мертвый, обливался потомъ, и не говорилъ ничего—не защищался, не оправдывался, вѣдавъ никакихъ объясненій: совсѣмъ у него языкъ отиялся. Инспекторъ же, разъ начавъ, уже не оставлялся и кричалъ все громче и громче,

— Не школа это, а сарай, хуже сарай всякано!.. Предупреждаю васъ: если въ двѣ недѣли все не будетъ приведено въ полный порядокъ, закрою вашу школу и конецъ дѣлу!

Онъ сталъ было кричать еще и за то, что Сауль Ароновичъ не придерживается программы, но адѣсь онъ случайно взглянулъ въ него, прямо въ лицо—и круто оборвалъ на полусловѣ: „Фу ты, какое лицо!.. Что я его рѣжу, что-ли?.. У этихъ ханниковъ иногда какія-то совсѣмъ особенные лица бываютъ“.

И, немного помолчавъ, онъ заговорилъ опять, но совсѣмъ уже другимъ тономъ—примирутельно и мягко:

— Ну, ничего, не бойтесь: закрывать васъ я вѣстану, а только вы... что-нибудь всетаки сдѣлайте. Форточки, напримѣръ. Сами посудите, что это за атмосфера!

Инспекторъ потянулся носомъ воздухъ.

— Съ вашими еврейчиками, знаете, всегда такъ: и немного ихъ, а попахиваетъ.

Инспекторъ засмѣялся и повеселѣлъ.

„А нѣдь, пожалуй, и онъ влюблялся!—почему-то пришло ему вдругъ въ голову.

Онъ сдѣлалъ еще нѣсколько замѣчаній, все въ томъ же миролюбивомъ и мягкому тонѣ, и по-тому спросилъ:

— Что это у васъ сегодня ученковъ такъ мало? Больше нѣть развѣ?

Судорожно сжатыя губы Саула Ароновича не разжимались, и онъ не отвѣтилъ.

— Я спрашиваю: это все ваши ученики?

— Всѣ,—съ усилиемъ прохрипѣлъ Сауль Ароновичъ.

— Гмъ, немнogo... Вѣдь вы, я полагаю, не для удовольствія одного школу содержите... Чѣмъ же вы живете?

Сауль Ароновичъ поднялъ на инспектора глаза. Что-то странное промелькнуло въ нихъ—удивленіе, вопросъ, благодарность?.. Горестная складка между бровями у него разошлась, и ноздри чуть-чуть затрепетали. Онъ сдѣлалъ шагъ впередъ въ заговорилъ.

Чѣмъ овъ живеть? Да развѣ онъ живеть! Развѣ это жизнь! Это все—одна сплошная мука и больше ничего. У него нѣть ни хлѣба, ни керосина, ни топлива, у него вѣтъ силъ, чтобы работать, его завтра выбросить изъ квартиры... Вотъ господинъ инспекторъ требуетъ вѣшалку, чистоту, и, конечно, онъ совершенно правъ. Но развѣ Са-

уль Ароновичъ самъ не знаетъ, что школу такъ грязно содержать нельзя? Разнѣ онъ не знаетъ, что подобная гигієническія услоіія „нагубно вліяють на молодыя отпранленія дѣтскихъ жизней“? Отлично онъ это знаетъ, и это немало отравляетъ ему жизнь, но что же онъ можетъ сдѣлать?.. И тѣмъ не менѣе, какъ ни плоха его школа, она исетаки лучше и полезнѣе другихъ. У глухого меламеда нѣ землянкѣ, нѣ темнотѣ, нѣ грязи, нѣ вони сорокъ душъ копошится, а чему такой меламедъ можетъ научить? Какія у него познанія? Онъ только знаетъ сѣчъ и больше ничего... Сауль Ароновичъ быль бы радъ и счастливъ, если бы можно было школу нести какъ слѣдуетъ, но въ Вознесенскѣ это немыслимо — „абсолютно немыслимо существовать и никакъ неизможно сдѣлать что-нибудь полезное“...

Инспекторъ икоса и съ выражениемъ любопытства посматриналь на Саула Ароновича.

„Какъ разнервулся! — думаль онъ: — и несь трясетъся... Станный господинъ!“

— А про какого это вы глухого меламеда горорите? — спросиль онъ.

„Ой, языки! Проклятый языкъ! — спохватился Сауль Ароновичъ. И съ горячностью зачастиль:

— Нѣть, не меламедъ, но только, напримѣръ, когда, напримѣръ, бывають меламеды, то у нихъ все это бываетъ... Можетъ быть и глухой, и даже

слѣпой, какой угодно, и онъ обучаетъ, и у него бынаетъ по тридцати и по пятидесяти учениковъ... Только это, вѣримъ, когда бываютъ хедера...

— А здѣсь у насть есть хедера?

— Боже сохрани! Откуда они вовсе возьмутся? Когда-то, очень давно, такъ былъ одинъ, но теперь нѣтъ. Ничего подобнаго нѣтъ! А если бы и былъ—никто бы туда дѣтей не отдавалъ!. Тepерь не то время, теперь уже понимаютъ...

— Чортъ его знаетъ, что онъ такое путаетъ,— подумалъ инспекторъ.

Онъ простился донольно дружелюбно и ушелъ. А Сауль Ароновичъ потомъ долго еще повторялъ себѣ все то, что сказалъ инспектору.

— Да, я хорошо сдѣлалъ, что поговорилъ съ нимъ. Что, если онъ инспекторъ, такъ онъ не человѣкъ? Онъ лучше другихъ! Заинтересовался и весьма сочувственно спросилъ, чѣмъ и живу... Небось, Цыпоркесь не спросить! Хоть умри—ин-кому дѣла нѣтъ. Никто, небось, не знаетъ, что въ четвергъ, когда я мыть полы, такъ я упалъ въ обморокъ и въ лужѣ четверть часа лежалъ. Очень это имъ интересно! И таки этотъ инспек-торъ очень хороший и благородный человѣкъ, и мнѣ таки очень жалко, что и ему ничего не сказа-ль о „трудѣ“... И нотъ же, значить, что выхо-дить: цѣлый городъ жителей, и все какъ будто бы свои, евреи, а задушеннную и очень теплую ноту

я слыхалъ только отъ инспектора.. Только ему я могъ разсказать немножко, что у меня въ сердцѣ... Теперь мнѣ таки гораздо легче, и даже очень пріятно. А то же прямо лопнуть можно — всегда исе въ себѣ носить!..

IV.

Инспекторъ уѣхалъ. Но прежде, чѣмъ покинуть городъ, онъ нанесъ веобходимыя справки, сдѣлалъ соотвѣтствующее распоряженіе, и хедерь глухого меламеда закрыли, а самого меламеда, за незаконное содержаніе училища, присудили къ шестидневному аресту

Это событие нызнако иль городкѣ огромную сенсацію, и исѣ сходились на томъ, что ввѣваться ио исемъ Сауль Ароновичъ: „донаесь“!

Колкости, оскорбления, ругательства, такъ градомъ на него и посыпались, а господинъ Цыпоркесь, по указанію котораго акцизный чивовникъ на прошлой недѣлѣ составилъ на трехъ евреевъ протоколы аа тайную продажу нодки, прочелъ цѣлую ватацию.

— Доносъ,—фе! Это самаго паскудного дѣла и чести намъ вѣ дѣлаетъ нисколько... Штидно! Миѣ за насъ штѣдво, въ подло.

Въ семьѣ глухого меламеда обрушившееся на вee весчатье подняло страшный переполохъ, в

тамъ долго стоялъ такой плачъ, какъ если бы кого-нибудь хоровили.

Не смотря, одвако, на это, глухой меламедъ, какъ только вышелъ изъ кутузки, — сейчасъ же снона вступилъ ва свой прежній преступный путь и опять стала набирать учениковъ...

— Только что же это будетъ, Хана, если этотъ разбойникъ опять на меня донесеть? — спросилъ онъ какъ-то жену.

— А то будетъ, что твоихъ учениковъ опять разговаривать, а тебя, дурака, опять засадятъ въ острогъ, — злобно отвѣтила она: — только теперь ужъ не ва шесть дней, а на полгода... О, чтобы его десять лѣтъ лихорадка тряствъ ве переставала, душегуба, довосчика проклятаго! Чтобы ему, подлому, сегодня же ва мѣстѣ, гдѣ онъ ходить или стоять, сквозь землю провалиться!..

Полемические приемы Хавы большой утюченностью не отличались никогда, а обстоятельства послѣдняго временя сообщили имъ ныразительность совершившо уже исключительную. Теперь ова не могла раскрыть ротъ безъ того, чтобы не выпустить цѣлаго заряда самыхъ изысканныхъ ругательствъ. Ругала она всѣхъ и все — и мужа, и дѣтей, и всѣхъ звакомыхъ, и всего больше Саула Ароновича. Себѣ она, впрочемъ, вѣ забыла тоже и съ большой горячностью просила Бога, чтобы

„чортъ ее поскорѣй унесъ“, и „чтобы уже окончились, наконецъ, ея страданія на этомъ свѣтѣ“...

А страданія ея на этомъ свѣтѣ были, дѣйствительно, немалыя. Она принадлежала къ числу тѣхъ еврейскихъ женщинъ, которыхъ вся жизнь проходитъ въ трепетной суетѣ, въ страхѣ и никогда не прерывающемся недоѣданіи. Голодать она начала буквально съ первыхъ дней появленія на свѣтѣ, съ той поры, когда со слабымъ пискомъ припадала къ высохшей груди своей чахоточной матери. Съ семи лѣтъ она сидѣла за стойкой въ отцовскомъ шинкѣ, а въ шестнадцать была матерью двойней, недолго, впрочемъ, прожившихъ. Потомъ она рожала каждый годъ и каждый же годъ кого-нибудь хоронила. Мужъ ея былъ „латыжникъ“, т. е. такой сапожникъ, искусство которого дальше вкладыванія уродливыхъ заплатъ не пошло. Онъ работалъ на перекресткѣ двухъ переулковъ у синагоги, подъ прикрытиемъ старой, ободранной акации. Шесть лѣтъ пожилъ онъ съ Ханой, наслаждаясь всѣми радостями голодной семейной жизни, и потомъ скоропостижно умеръ, какъ говорится въ некрологахъ, на посту, т. е. подъ старой акацией у синагоги, съ дратвой и корявымъ сапогомъ въ рукахъ.

Добрые люди собрали Ханѣ нѣсколько рублей, и она завела торговлю щетками и сапожной ваксой. Нагрузить, бывало, себя этимъ това-

ромъ—одинъ узель на груди, другой на спинѣ—да и ковыляетъ, охая и покашливая, по городу, разыскивая покупателей.

Дѣти оставались безъ всякаго присмотра, и разъ, вернувшись поздно вечеромъ домой, Хана нашла своего трехлѣтняго Ййну ошпареннымъ. Онъ опрокинулъ на себя чайникъ съ кипяткомъ, да такъ со сведенными ногами на всю жизнь и остался...

Хана вышла замужъ во второй разъ, за меламеда, но сытности ей и этотъ бракъ не принесъ. Рожать же она опять стала ежегодно... Впрочемъ, семья ея не увеличивалась: одинъ родится, другой умретъ... Восьмеро дѣтей умерло у Ханы, и не умиралъ только калѣка Ййна: росъ себѣ на славу, а ходить не ходилъ.

Не прекращавшійся процессъ рожанія, кормленіи, похоронъ сушилъ и истощалъ Хану, превращалъ ее въ какую-то ходячую мумію, убивалъ всѣ ея силы, и одного только не могъ убить—способности рожать. Когда въ городѣ произошелъ погромъ, и дикая ватага громилъ ворвалась въ ея конуру,—Хана была на шестомъ мѣсяцѣ... Къ вечеру она родила мертваго ребенка, и этотъ тоже не былъ послѣднимъ...

Въ Воанесенскѣ, къ великому изумлению Ханы и ея мужа, случилось диво дивное, случилось нѣчто такое, чего они никогда и предположить

не могли бы меламедъ стать зарабатывать... Понтиинъ золотая пора наступила для него, такая пора, какой онъ еще и не знавалъ. — „На, ъшь, Іойна!. Берчикъ, ъшь!—совала Хана дѣтямъ какой-нибудь кусокъ:— ъшь еще, выпей чаю, сахару возьми, пей!“

Она словно хотѣла наверстать, вознаградить дѣтей за прежніе голодные годы и накормить ихъ и за тѣхъ, которые такъ и въ могилу сопли, не узиавъ, что такое сѣть...

Не смотря на эти счастливыя перемѣны, Хана не выказывала никакой радости. Какъ и въ прежніе годы—улыбка никогда не появлялась на ея узкомъ, костлявомъ лицѣ, и, какъ и раньше, оно выражало одну только безсмѣнную, холодную суровость. Но внутри Ханы происходило что-то странное. Тамъ точно отогрѣвалось что-то и таяло, тепло кора какая-то шелушилась и отпадала отъ замученной души. Пооятый праздникъ, постоянное ликованіе царило въ ней, и она тихо и радостно замирала отъ этого неожиданнаго, великаго отдыха... На Іомъ-Кипуръ, въ душной, темной синагогѣ, при тихомъ потрескиваніи красныхъ восковыхъ свѣчей, она молнилась съ большой горячностью, слезы долго и быстро катились у ней по лицу, и когда тѣхъ молитвъ, которыхъ старенький, сгорбленный канторъ жалостнымъ теноркомъ пѣлъ у алтаря и которыхъ имѣлись въ ея молит-

венникъ, ей показалось мало,—она въ страстномъ порывѣ, всплеснула руками, прижала молитвенникъ къ груди, обратила лицо къ взкому темному потолку и на разговорномъ еврейскомъ жаргонѣ вскрикиула:

— Господи, не оставь насть! Сбереги насть, моего калѣку... дѣтей монхъ, моихъ бѣдныхъ дѣтей!..

Когда послѣдовало закрытие хедера, Хана, какъ придурковатая, долго повторяла одну и ту-же фразу:

„Богъ мевя наказаль! Богъ меня наказалъ“!..

На другой день только она очнулась и бросилась къ Саулу Арововичу. Въ присутствіи учениковъ она вѣшилась ему въ лацканы и заголосила:

— Хлѣба, доносчицы! Дѣтамъ моимъ хлѣба!

Сауль Ароновичъ растерялся, поблѣднѣлъ и, какъ могъ, отбивался отъ разъяренной женщины.

— Я тебя, доносчикъ, задушу! Задушу, разбойникъ-проклятый! — дико вопила она, потрясая его изо всѣхъ силъ.

И Богъ знаетъ, чѣмъ оковчилась бы эта сцена, если бы старуха Сося, свекровь Ханы, вмѣстѣ съ ией отправившаяся чивить расправу, ве повисла вдругъ у невѣстки на рукахъ и не закричала:

— Ханеню, дитя мое, что ты дѣлаешь! Уйдемъ. Насъ Богъ не оставитъ... У насъ Богъ крѣпкій... Онъ сильный... Онъ видитъ... Онъ все видитъ...

Онь нась защитить... Уйдемъ, дитя мое, уйдемъ отсюда, идемъ!..

Старуха плакала, ласкала и унимала навзрыдъ голосившую Хану, и потомъ, когда обѣ женщины ушли и были уже далеко, и горестная причитанія ихъ, заглушаемыя тосклінъмъ шумомъ осенней непогоды, въ школу доносились уже една только улонннымъ замирающимъ стономъ,—Сауль Ароновичъ пришелъ нѣсколько въ себя, сложилъ на груди ладони и, съ выраженіемъ мольбы и муки на помертвѣломъ лицѣ, растерянно бормоталъ:

— Да я-жъ не доносилъ, Господи, Боже ты мой! Что это за несчастье такое, я же не доносилъ!..

V.

Хана отлично поняла и вполнѣ пранильно оцѣнила свое положеніе. Она поняла, что это горе—не преходящее, ие временное, а постоянное. Она видѣла, что семья ея и „доносчикъ“ столкнулись на тѣсной, узенькой площадкѣ, и что несмѣть имъ на ней умѣститься иельяя. Кто иибудь долженъ уйти.

— Уйти? Значить, чтобы опять мои дѣти съ голоду пухли? Н-н-нѣтъ, этого не будетъ!

И когда мужъ спросилъ ее о томъ, что „будетъ“—у нея планъ дѣйствій уже созрѣлъ. Но только она знала, что мужъ его не одобрить, и это нызыпало иѣ ней настоящую ярость.

— Сгинешь въ острогъ! — свирѣпо вскрикнула ова.

Меламедъ поникъ головой.

— Ну, а всетаки что же дѣлать?

— Не знаешь, что дѣлать? Танцоватъ.

— Зачѣмъ ты сердишься? Лучше мы обсудимъ...

— „Обсудимъ“! Онъ будеть обсуждать! Умникъ какой напался, министерская голова!.. Что тутъ обсуждать! Выживи этого душегуба отсюда, вить и исе. Донеси на него, закрой ему школу, и пусть онъ къ черту уѣдетъ отсюда, куда хочетъ.

Меламедъ съ беспокойствомъ посмотрѣль женѣ въ лицо.

— Хава, не говори этого! За это Богъ накажеть. Доносъ?.. Еврей этого не долженъ дѣлать.

— Ну, такъ татаривъ это сдѣлается! Такъ дѣлай то, что еврей долженъ дѣлать: иди! издыхай въ острогъ!

Меламедъ, въ тяжеломъ раздумъѣ, молчалъ, а Хана продолжала:

— Развѣ я не звала, что такъ оно и будетъ! Фи-ла-зѣвъ! „Долженъ, не долженъ! еврей не еврей“... Дѣти босы, голы, голодны, самъ ты человѣкъ больвой, еле держишься, и тебя въ острогъ посадятъ. Вотъ-то будетъ весело! По крайней мѣрѣ, несено будетъ. Хлѣба у меня нѣть, а веселья — сколько угодно!

И такъ какъ меламедъ все вздыхалъ и не го-

вориль ничего, то Хана вышла изъ себя и, удаливъ кулакомъ обь столъ, истерически закричала:

— Ты мужъ?! Ты отецъ?! Ты изнергъ, ты катъ, вотъ кто ты! Развѣ ты заботишься о сноихъ дѣтяхъ? Пусть они всѣ вымрутъ—тебѣ все ранно... Я, я сама все устрою, если такъ. Я сама инспектору напишу! Я найду такихъ, которые миѣ напишутъ... Ты болванъ, ты стурпачъ, ты старая кляча, ты...

Недѣлю спустя инспекторъ получилъ доность о томъ, что въ школѣ Саула Ароновича древне-еврейскій языкъ преподаетъ учитель, не имѣющій установленного ценза. И еще былъ указанъ цѣлый рядъ другихъ, не менѣе ужасныхъ нарушений закона... Въ это время „въянія“ захватили инспектора съ особеніемъ силой...

— А, надоѣли миѣ, однако, эти бердичевскіе!—сказалъ онъ съ досадой.—Съ сотней нашихъ школъ меныше возни, чѣмъ съ двумя какими нибудь лапсердаками. Чортъ ихъ всѣхъ побери! Ябедники!

Разбираться въ этомъ дѣлѣ было долго... „Всѣ они одиаконы!“ И черезъ иѣсколько дней школа Саула Ароиновича была закрыта.

VI.

— Что же я теперь буду дѣлать? Куда же мнѣ теперь дѣваться?

Сауль Ароиновичъ стоялъ посреди класса, ту-

пымъ, бесмысленнымъ взглядомъ уперся въ стѣну, но и стѣны не видѣлъ. Какая-то темная путаница стояла у него въ головѣ, точно въ вей клубился туманъ или дымъ.

Потомъ онъ вдругъ встрепенулся.— „А вѣдь это Рапопортъ! Это его работа, это онъ донесъ!“

И Сауль Ароновичъ бросился въ свою каморку, трясущимися, не попадавшими нѣ рукава руками напялилъ на себя пальтишко и побѣжалъ вонъ изъ дома.

— Это называется интеллигентный человѣкъ!— заоралъ онъ, вырываясь въ комнату Рапопорта:— такъ поступаетъ человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ! Доносы писать! Изъ-за несчастнаго урока у меламеда кандидатъ правъ на людей доносы писать!

Въ головѣ Рапопорта пробѣжала смутная догадка.

— Я? Доносы?

— Вы! Вы! Кто же донесъ инспектору?.. Ваша работа!..

— Послушайте, убирайтесь вы вонъ!

Но тутъ Рапопортъ пристально посмотрѣлъ на своего нежданнаго гостя и, перемѣнивъ тонъ, добавилъ:

— Да какой чортъ вамъ сказалъ, что это „моя работа“? Никакихъ доносовъ я не писалъ. Вамъ, можетъ быть, налгали, но я увѣрю васъ, что это неправда...

— Какъ не писали?

— Да такъ вотъ, и не писаль.

Сауль Ароновичъ смѣшался.

— Вы не писали? Вы не писали?.. А кто же писаль?

— А я почемъ знаю. Можетъ быть, меламедъ написаль... Не знаю.

— Можетъ быть, меламедъ писалъ...—машинально, не слыши себя, повторилъ Сауль Ароновичъ, и вдругъ, пораженный другимъ ходомъ мыслей, схватился обѣими руками за голову и застоналъ:— Боже-жъ мой, Боже-жъ мой. Что же это теперь будетъ!

— Я вамъ искренно сочувствуя, Сауль Ароновичъ,—сказалъ Рапопортъ,—и ужасно хотѣлъ бы вамъ помочь, да только что-жъ я могу... вотъ развѣ что: у меламеда отъ урока отказаться? Откажусь! Сегодня же откажусь, хотя и самъ безъ куска хлѣба останусь...

— Кусокъ хлѣба!.. наплевать мнѣ на кусокъ хлѣба!.. Чортъ съ нимъ съ кускомъ хлѣба! Тутъ дѣло не въ хлѣбѣ, тутъ другое... Тутъ мой трудъ, моя книга!.. Я пишу книгу, полезную книгу, я пишу... ключъ къ Марго.

— Вы пишете ключъ къ Марго?— вскричалъ Рапопортъ.

— Да! Я больше года уже работаю, это будетъ очень полезная книга! Я бы скоро кончилъ ее.

Мѣсяца три, четыре... а тутъ мнѣ школу закрываютъ.

„Да что это оль съ ума сошель, или такъ просто олухъ такой ужъ необыкновенный?“ — думалъ Рапопортъ и съ смущающимъ видомъ смотрѣлъ на Саула Ароновича.

— Ключъ? Къ Марго ключъ? — переспросилъ онъ.

— Да. И если бы не это несчастье, я бы черезъ два мѣсяца его окончилъ...

— Но нѣдѣль... послушайте... что вы дѣлаете? Вѣдь ключъ къ Марго уже написанъ.

— Какъ! Что мы сказали?!

Глаза у Саула Ароновича стали совсѣмъ безумные.

— Я сказалъ... да вы успокойтесь... я ничего... я сказалъ только... мнѣ такъ казалось, что ключъ такой уже существуетъ.

Сауль Ароновичъ несъ побѣлѣлъ, но въ замутинившемся умѣ его мелькнула догадка: „занидуется, проклятый! Меламедскій наемникъ“.

— Вы прете! — гаркаулъ онъ не своимъ голосомъ и затопалъ ногами. — Ключа нѣть! Вы мнѣ врагъ! Вы смеетесь надо мной! Вы доносы написали, мы ябедаикъ, доносчикъ! Вы подлецъ!

Лицо у Рапопорта судорожное задергалось.

— Я доноса не писалъ, — силясь быть спокойнымъ, сказалъ онъ: — вы это потомъ поймете. А

ключъ есть. Зачѣмъ мнѣ васъ обманывать? Вотъ онъ.

Рапопортъ взялъ съ окна тоненькую, желтую брошюрку и бросилъ ее на столъ.

— „Ключъ къ учебнику французскаго языка Марго“, — прочель Сауль Ароионичъ, и въ глазахъ, у него потемиѣло.

— „Ключъ къ учебнику французскаго языка Марго“, — прочель оиъ во второй разъ, и колѣни его стали трястись.

Потомъ трястись стало всѣ тѣло, и мучительный, ноющій холодъ разошелся по всѣмъ его членамъ.

— „Ключъ къ учебнику французскаго языка Марго, Ключъ къ учебн... ключъ къ уч...“.

Съ минуту Сауль Ароивичъ стоялъ безъ движенія. Потомъ глаза его широко раскрылись и закрылись сиова. Потомъ руки его зачѣмъ-то протянулись впередъ и упали. Потомъ онъ повернулся, взялъ шляпу и, шатаясь, пошелъ къ двери. Но на порогѣ онъ остановился, обернулся, посмотрѣлъ на „Ключъ“ пристальнымъ диквмъ взглядомъ и, протяжно, жалобно, точно больное дитя, пролепетавъ „Рапопортъ... Рапопортъ“, — какъ подкошеннный, повалился на полъ...

VII.

Прошелъ годъ.

Сауль Ароновичъ перѣхалъ въ жительство въ Одессу. Бѣдствовалъ онь тамъ свачала очень сильно, во потомъ вдругъ обстоятельства круто перемѣнились.

На этотъ разъ помогли ему именно „вѣянія“: въ Одессѣ тоже пристальнѣе начальв присматриваться къ дѣятельности еврейскихъ школъ и отъ преподававшихъ въ нихъ меламедовъ стали требовать учительскія свидѣтельства. Такихъ монстры-меламедовъ со свидѣтельствами, однако-же, не оказалось совсѣмъ, а Саулъ Арововичъ, въ качествѣ окончившаго раввинское училище, вполнѣ удовлетворялъ требованіямъ начальства. И вотъ на Саула Ароновича вдругъ появился спрось... Онъ перемѣнилъ только амплуа: вместо „общихъ предметовъ“, сталъ преподавать древнееврейскій языкъ, и отъ уроковъ не было отбою...

Зажилъ Сауль Ароновичъ!

Въ короткое время онъ подкормился, пріодѣлся и поправился здоровьемъ. Хребетъ у него не выравнивался, правая лопатка по прежнему свое-вольно торчала совсѣмъ не въ томъ направленівъ, въ какомъ слѣдовало бы, во щеки пополнѣли и цвѣть лица ожнвился. Теперь онъ каждый день

объдалъ (дна блюда и чашка кофе) и за объдомъ ему подавали газету, чистыя салфетки, а въ сильную жару—даже нѣрь. Ему не приходилось теперь собственоручно стряпать, мыть тарелки, полы и горшки: все это осталось нѣ прошломъ.

Ношеной одежды онъ не покупалъ тоже. Когда ему хотѣлось обогатить свой гардеробъ, онъ отправлялся на Полицейскую улицу, входилъ въ магазинъ и унѣренно требовалъ то, что въ данную минуту было нужно.

— Когда человѣкъ хорошо одѣть,—разсуждалъ Сауль Ароновичъ,—съ нимъ совсѣмъ иначе обращаются. Вотъ, напр., когда я еще только что было прїѣхалъ въ Одессу, подхожу я себѣ къ городовому и вполнѣ вѣжливо, какъ слѣдуетъ, спрашиваю: извините, пожалуйста, господинъ городоной, будьте такъ любезны, потрудитесь мнѣ сказать, гдѣ тутъ Приморскій бульваръ? А городоной посмотрѣлъ на меня и крикнулъ, донельзя-таки грубо:—тебѣ на Приморскій бульваръ надо? Тебѣ, пархатому, на толчокъ надо!—А отчего? Тогда сюртукъ на мнѣ таки былъ старый, засаленный. А теперь—хотите! Вотъ я сейчасъ пойду и спрошу дорогу, куда угодно.

Все это было очень хорошо и пріятно, но... Сауль Ароновичъ чувствовалъ себя неудовлетвореннымъ.

„Если эти удобства отложить нѣ сторону,—говорилъ онъ себѣ,—такъ я долженъ признаться, что

вовсе не испытываю ничего возвышенного. Вѣдь я же живу, какъ какое-нибудь прозябающее! Щѣмъ, пью, ну а дальше что? Какая отъ меня польза человѣку и что это за дармоѣдская жизнъ.. Дѣтей учу... Ну, это правда. Но вѣдь первый попавшійся еврей можетъ это дѣло дѣлать—какая тутъ съ моей стороны заслуга?

И Сауль Ароновичъ чувствовалъ огорченіе.

Онъ становился угрюмъ и молчалъ... Сходилъ раза два въ театръ, въ думу на засѣданія, ва какія-то публичныя лекціи, но и въ театръ, и въ думъ, и на лекціяхъ—вездѣ ему было нехорошо.

„Вотъ я развлекаюсь, — думалъ онъ. — Важныя дѣла дѣлались я сегодня!.. Какое теперь мое существованіе? И чѣмъ я отличаюсь отъ глухого меламеда... работаю только для своей утробы... И особенно это красиво въ настоящее нехорошее время! Въ настоящее время какъ разъ и можно себѣ допустить такой образъ жизни!..“

А „настоящее время“, дѣйствительно, было черными днями.

То было время жестокихъ погромовъ, дикой газетной травли, общей къ евреямъ ненависти и повсемѣстного глубокаго презрѣнія. Смѣшие и страхъ царили въ „чертѣ осѣдлости“, въ Сауль Ароновичъ терзался мыслью, что онъ не можетъ ничего сдѣлать.

„Теперь надо работать, но теперь работать

надо ве какъ прежде, не вообще для всѣхъ, для всего общества или для просвѣщенія всѣхъ бѣдныхъ посредствомъ „ключей“, а преимущественно для евреевъ. Надо дѣлать что-нибудь такое, что нѣтъ тяжелую годину было бы полезно еврейству, что облегчало бы его страданія, утѣшало бы... Я, ковечно, человѣкъ маленький, простой муравейчикъ— ну такъ что? Одивъ муравейчикъ, два муравейчика, три муранейчика—и въ общемъ итогѣ выростаетъ цѣлый подземный дворецъ!.. И, кромѣ того, въ самомъ ли дѣлѣ я такой уже муранейчикъ? Вотъ же я написалъ было трудъ! Къ вѣчастью, онъ вышелъ запоздалымъ, но это уже случайность... Я могъ написать и другой трудъ... Я могу... И напишу, и онъ будетъ полезенъ моему народу...“

Весь вопросъ, вся трудность для Саула Арововича заключалась нѣ томъ, чтобы ныяснить себѣ, что именно требуется еврейству нѣ данную минуту, и что онъ для вего можетъ сдѣлать.

— Чего собственно отъ насъ хотятъ?—разсуждалъ онъ:—за что такъ ненанидятъ? „Жиды мошевники“! Здравствуйте! Только жиды мошенинки? А среди русскихъ мошениковъ нѣть? Веадѣ есть мошенинки, нездѣ есть и честные люди... Ови говорять, что наша религія жестока, наша мораль вредна. Наши традиціи, будто бы, безнравственны. И почему говорять? Потому, что насъ ве зваютъ

Пусть уваходят, и мнѣніе о нась сразу перемѣнится... Чѣмъ наша мораль такъ отличается отъ другихъ? Мораль одна!.. Взять, напримѣръ, пословицы. Что такое пословица? Пословица есть, такъ сказать, показатель народной мудрости... Такъ! Но и народной морали тоже... „Хлѣбъ соль ъшь—правду рѣжь“. „Не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ“. „Лѣнность—мать пороковъ“... Теперь посмотрите, что выходитъ: выходить, что каждая русская пословица имѣеть себѣ подходящую и на древнееврейскомъ языке. Ожидали вы этого?.. И что же отсюда слѣдуетъ? Показатели морали равны, значить и самыя морали равны. Это же ясно, ясно математически! И этого никто не зналъ, и никто объ этомъ не думалъ... Теперь предположимъ, что существовалъ бы сборникъ русскихъ пословицъ и параллельно соответствующихъ имъ древнееврейскихъ? Имѣло бы это значеніе? А если бы еще вдобавокъ — и французскія, и нѣмецкія... Боже мой!..

Добравшись до этой мысли, Сауль Ароновичъ весь просвѣтлѣлъ.

— Замѣчательно! Необыкновенно плодотворная идея!!

И съ того же вечера онъ засѣлъ за новый „трудъ“.

Онъ началъ составлять сборникъ подъ названіемъ „Мораль въ пословицахъ іудеевъ и христі-

анъ, или параллельный сборникъ поученій, прибауточъ и поговорокъ съ точки зрѣнія сравнительной нравственности".

— Такъ, такъ, — въ радоствомъ волненіи говорить онъ: — это будетъ замѣчательнѣйшая книга! И попадеть въ самый центръ вопроса!.. Если вѣсть бываютъ, то развѣ оттого, что они злые люди? Разбойники? Душегубы? Совсѣмъ вѣты!.. У русскаго человѣка — сердце золотое. Но только русскій человѣкъ настѣнъ вѣзваетъ. Тутъ одно прискорбное ведоразуміе, которое необходимо разсѣять.. И мой сборникъ поможетъ этому... Овъ разсѣеть предразсудки... Овъ откроетъ окна и пустить свѣтъ... И все станетъ ясно, и вѣсъ увидятъ... Боже мой, какъ это просто!..

VIII.

Отъ другихъ смертныхъ Сауль Арововичъ въ ту пору отличался тѣмъ, что почти вовсе не спалъ.

Сборникъ написать надо было какъ можно скрѣе: потребность въ немъ была жгучая, и онъ просиживалъ вадь книгой вочи вапролеть.

А писать эту книгу было вемвожечко потруднѣе, чѣмъ ключъ къ руководству Марго. Нужно было множество материаловъ и источниковъ, и Сауль Арововичъ вакупилъ и выписалъ изъ Петербурга и Парижа цѣлый ворохъ какихъ-то диковин-

ныхъ, никому вѣдомыхъ, викогда никѣмъ вени-
данныхъ сборниковъ и христоматій, и весь съ го-
ловой ушелъ въ ихъ штудированіе и комменти-
рованіе.

Онъ обшарилъ всѣ имѣвшіяся въ городѣ би-
бліотеки и проникалъ къ частнымъ лицамъ, у ко-
торыхъ разсчитывалъ найти книги или „вообще
материалы“; вѣдра публичной библіотеки онъ рас-
капывалъ съ такимъ увлеченіемъ, что завѣдующаго
ею господина, сорокъ пять лѣтъ сидѣвшаго на
своемъ посту и видавшаго всякие виды, приво-
дилъ и въ изумленіе, и въ уныніе. И потомъ—
когда всего этого Саулу Ароиновичу показалось
мало—онъ оставилъ всѣ свои уроки и за три мѣ-
сяца уѣхалъ въ Варшаву, гдѣ „интересные доку-
менты“ можно было найти въ изобилії.

— Богъ дасть, и мнѣ таки удастся ииести
струю умиротворенія и содѣйствовать наступленію
лучшей эры... Вотъ, напримѣръ, они ругаютъ вашъ
талмудъ. А знаютъ-ли они талмудъ? Какія въ вѣмъ
глубокія, замѣчательныя изреченія! И что же таки
они скажутъ, когда я докажу, что всѣ до одвого
поученія Владимира Мовомаха совпадаютъ съ по-
вѣдѣніями талмуда? Это, признаюсь, будетъ любо-
пытно! Мало того! Я докажу, что и безиравственные
пословицы — тоже схожи у насъ и у нихъ. „Своя
рубашка ближе къ тѣлу“. „Стыдъ не дымъ, глаза
не выѣсть“, „Каждый за себя, Богъ за всѣхъ“.

Пусть они не думаютъ, что это только у нихъ: у нвсъ это тоже есть... Есть, есть! И въ хорошемъ, и въ дурномъ нвроды сходны между собою!.. И, знвчить, къ чему враждѣ? Къ чему ожесточеніе? Должевъ быть миръ! Должевъ быть любовь! И я послужу съ своей стороны дѣлу этой любви!

Каждая страница, каждая строка сборника стояла Саулу Ароновичу мучительного, чисто вторжнаго труда: страница въ книгѣ предполагалась триста, да къ нимъ предисловіе, да вступленіе, да, можетъ быть, и пояснительное слово „къ свидетельственному господину читателю“,—но всѣ эти трудности его только радовали.

— „Rien pour rien“!—говорилъ онъ: въ ту пору онъ и говорилъ, и думалъ почти одиѣми пословицами.—Пожнешь то, что посвѣшишь, а товаръ всегда бываетъ по цѣнѣ...

Въ работѣ этой прошло около пятнадцати мѣсяцевъ и потомъ, когда сборникъ сталъ близиться къ окончнію, Свулъ Ароновичъ принялъся искать издателей.

Но здѣсь случилось нѣчто неслыханное и даже совершенно невѣроятное.

Издатели воздавали должное трудолюбію и тѣланту Свулу Ароновичу, говорили, что сборникъ его—прекрасное сочиненіе, которое навѣрно искоренить множество печальныхъ недоразумѣній; признавали и то, что разасѣять эти недоразумѣнія слѣ-

довало бы давнымъ давно, но печатать книгу, за вѣмъ тѣмъ, соглашались не иначе, какъ на его счетъ, и при томъ еще — непремѣнно — за наличные деньги.

— Да гдѣ же я возьму такія деньги? — съ то-ской восклицацъ Сауль Ароновичъ: — вѣдь я бѣд-никъ! нищій!

И онъ бросился къ богачамъ-евреямъ.

— Вѣдь эта книга — не моя книга! Вѣдь она общее достояніе народа! Для себя я ничего не требую, ни копѣеки! Пусть даже не печатаютъ кто авторъ, это неважно. Но издать книгу, такую книгу необходимо! Это же очевидно, не можетъ же быть, чтобы этого не поняли!

Этого, однако, не поняли!..

Не поняли, и „Морали въ пословицахъ“ изда-вать не хотѣли.

Тогда Саулу Ароновичу пришла въ голову блес-тящая мысль; онъ вспомнилъ о воинесенскомъ просвѣщенномъ обывателѣ, о господинѣ Цыпор-кесѣ...

— Здѣшніе богачи — эгоисты... А господинъ Цыпоркесъ — человѣкъ простой, беахнтростный и великодушный. Онъ мнѣ поможетъ! Ему я и по-свящу этотъ трудъ, „издаваемый великодушнымъ иждивенiemъ вознесенскаго второй гильдіи купца Іоакима Бернардовича господина Цыпоркеса“. О, да! Онъ мнѣ поможетъ!

И Сауль Аронович принялся составлять письмо къ Іоакиму Бернардовичу.

Прежде всего онъ воодавалъ обильную хвалу нечеловѣческимъ заслугамъ воинесенскаго второй гильдіи купца, изумительнымъ свойствамъ его ума и сердца. Затѣмъ рѣчь пошла о прошломъ и будущемъ еврейства. Затѣмъ о важномъ значеніи „Сборника“. Затѣмъ, распространившись насчетъ лестныхъ отзывовъ о сборникѣ со стороны „самыхъ выдающихся господъ писателей города Одессы, равно какъ и отъ вмеви ученыхъ профессоровъ“, Сауль Ароновичъ ясно и съ благородною краткостью иложилъ, чего собственно ему надо отъ господива Цыпоркеса.

„Задачи всеобщаго умиротворенія такъ плодотворно-прекрасны, а интересы еврейства всегда были вамъ такъ дороги, и на дняхъ еще только прочель я въ газетахъ, что вы избраны почетнымъ попечителемъ мѣстной больницы, а потому я увѣренъ“... и т. д., и т. д.

Увы! Іоакимъ Бернардовичъ обманулъ лучшія ожиданія Саула Ароновича, и на свое письмо Сауль Ароновичъ не получилъ отвѣта...

IX.

— Что-жъ дѣлать? Это таки въ высшей степени плачевно,—вздыхая, говорилъ Сауль Ароновичъ:—въ этомъ все наше несчастье! Современное еврѣй-

ство очевь опустилось, и грубо-эгоистические интересы теперь для него являются доминирующимъ факторомъ. Но что же, однако, отсюда вытекаетъ? Вытекаетъ то, что работать для его пробужденія надо съ нынѣшимъ стараніемъ...

Дни между тѣмъ шли за днями. Вражда къ евреямъ не ослабѣвала. Ихъ били то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, ввели процентное отношеніе въ гимназіяхъ, въ университетахъ, ихъ выселяли изъ сель и деревень, ограничивали ихъ права во всѣхъ областяхъ, а „Мораль въ пословицахъ“ все оставалась неизданий.

— Господи! да что же я за болванъ!—вскричалъ какъ то разъ Сауль Ароновичъ, осѣненный новой идеей:—да на какого мнѣ чорта всѣ эти богачи? Развѣ я не справлюсь безъ нихъ? Не понимаю, гдѣ была моя голова...

И съ этого дня онъ повелъ свою жизнь совсѣмъ на особый ладъ. Онъ пересталъ топить комнату, пересталъ обѣдать, пересталъ пользоваться конкой.

— Цѣлую комнату мнѣ надо?.. Такой я въ самомъ дѣлѣ великой баринъ, что мнѣ надо цѣлую комнату! Видѣлъ я такую роскошь у моего отца?..

Онъ нашелъ себѣ уголь нѣ подвалѣ и сталъ жить совсѣмъ по-нищецки.

Уроковъ же набралъ столько, что работать

приходилось до полнаго изнеможенія... И всѣ заработанныя деньги онъ относилъ въ сберегательную кассу.

— Издатель?.. На что мнѣ издатель? Я самъ себѣ издатель!—съ побѣднымъ видомъ говорилъ онъ:—зачѣмъ мнѣ клацаться этимъ богачамъ? Независимость—вышее благо на свѣтѣ!

И на душѣ у него было радостно и свѣтло, и онъ весело и съ вѣрой смотрѣлъ будущему въ лицо...

Прошло мѣсяца четыре.

Поавоночникъ у Саула Ароновича еще больше уклонился отъ обычной своей формы, правая лопатка еще выше подѣала къ темени и кашель сталъ являться чаще, кашель сухой и короткій... За то въ сберегательной кассѣ капиталъ Саула Ароновича росъ да росъ.

И вмѣстѣ съ тѣмъ въ воображеніи автора зарождались новые планы. Возникалъ проектъ „Издавательскихъ и правдивыхъ разсказовъ изъ еврейской старины“. Но это еще что! Это въ видѣ розыха. Это легкое чтеніе, вродѣ романа. Гораздо важнѣе „Толковый Указатель“—капитальный трудъ по еврейской библіографіи... О, да! Это самая необходимая книга, даже болѣе необходимая, чѣмъ „Сборникъ пословицъ“!. И именно за нее Сауль Ароновичъ и взялся, отложивъ другія.

Надъ „Толковымъ Указателемъ“ онъ работалъ

такъ, какъ не работалъ никогда, ни надъ клю-
чомъ, ни надъ сборникомъ: судорожно, съ жад-
ностью, съ упоеніемъ, съ ожесточеніемъ, забывая
себя, забывая весь міръ, не обращая ии малъй-
шаго вниманія ни на скривившійся окончательно
хребетъ, ни на усилившіесяочные поты...

И всего чреаъ однинадцать мѣсяцевъ книга
была готова.

— Теперь—издавать!—сверкая глазами, носкли-
цаль Сауль Ароновичъ.—Издавать! Печатать!

Онъ взялъ изъ сберегательной кассы всѣ свои
деньги и отправился по типографіямъ.

X.

— Хорошее питаніе, чистый воздухъ, отдыхъ—
все то же!.. И ничего новаго я вамъ не скажу,—
говорилъ докторъ:—вотъ весна началась, поѣзжай-
те куда-нибудь въ деревню, пейте молоко, питай-
тесь получше, дышите, грѣйтесь на солнцѣ—вотъ
все ваше лѣченіе.

— А крѣпко я боленъ? опасно?—спросилъ Са-
уль Ароновичъ.

— Опять?.. Ну, что мы все разспрашиваемъ? На
что это намъ? Ну—„крѣпко“, ну—„опасно“... Дѣлай-
те, что говорятъ, и выздоровѣете. А я вамъ и въ
прошломъ году говорилъ, и шесть мѣсяцевъ тому
назадъ повторялъ, и теперь долблю: устройтесь въ

деревнѣ, устройтесь въ деревнѣ! Вы не слушаетесь и все только разспрашиваете.

— Нѣть, нѣть, нѣть, господинъ докторъ! Теперь уже я васъ послушаюсь,—съ радостной, мягкой улыбкой, весь свѣтясь, сказалъ Сауль Ароновичъ: раньше такъ я таки не могъ, а теперь уже иначе, теперь я поѣду! Вотъ увидите,—поѣду.

— Отчего мнѣ теперь не поѣхать?—разсуждалъ онъ потомъ:—корректурные листы, слава Богу, уже у меня, денегъ немножечко тоже осталось... — таки поѣду, таки поправлюсь вѣмножко. И лучше всего—я поѣду себѣ въ Вознесенскъ и тамъ, въ деревнѣ, найду у мужика хату и буду жить. Тамъ все дешево, молоко, яйца!... есть сады...

Черезъ недѣлю онъ уже былъ въ Вознесенскѣи, сидя въ заплеванномъ номерѣ „Столичной гостиницы“, говорилъ служителю:

— Принесите мнѣ кипятку и пару янцѣ. А паспорта вамъ моего не нужно: я завтра же нанимаю себѣ въ деревнѣ хату. Вы, часомъ, не знаете такого мужика, который сдавалъ бы хату? И чтобы съ садомъ была?

— Я пошукаю,—отвѣтилъ служитель.

Сауль Ароновичъ чувствовалъ себя утомленнымъ и прилегъ: „минуточку передохну“.

Кололо его въ груди, жарко было глазамъ и въ головѣ что-то мутлилось и жгло...

Прошло съ полчаса, а чаю своего онъ не пиль.

— Ужъ лучше я теперь посплю,—рѣшилъ онъ,—а чай выпью послѣ.

Но уснуть онъ не сумѣлъ. Жаръ усиливался, и все звонче становился шумъ въ ушахъ.

— Который изъ Адессы пріѣхавши, чиновникъ этотъ, что-ли, такъ онъ что-то неадоровъ,—должилъ служитель хозяйствъ гостиницы, брюхатой, огромнаго роста женщинѣ, съ ныпучевыми рыбими глазами и славными, золотистаго оттѣвка, усами.

Та пошла въ номеръ взглянуть на Саула Ароновича и, увидѣвъ его пылающее лицо, сильно заволновалась.

— На что это мнѣ?.. Не надо мѣ больного жильца. Онъ можетъ помереть... Иди скорѣе до пристава, нехай его возьмутъ у больвицу...

На утро Саула Ароновича отвеали въ больницу.

Когда его, поддерживая подъ оба локтя, вводили въ палату, одинъ изъ больныхъ, нысокій, сѣдобородый старикъ, пристально сталъ въ негоглядаться. Потомъ старикъ вдругъ сильно заволновался, закашлялся и, уцѣпившись руками за матрацъ, привсталъ.

— Это... это... это ны?—испугавно прохрипѣлъ онъ.

Саулъ Ароионичъ отвѣчалъ тихимъ, долгимъ стономъ.

— Это ны?.. ны сюда пріѣхали?.. Опять пріѣхали?..—сильнѣе напнувшись, хрюпѣлъ старикъ.

Сауль Ароновичъ, по прежнему, тихо стональ.

— Вы пріѣхали?.. Вы будете открывать классъ?!

И глухой меламедъ—это былъ онъ—залился долгимъ, сиплымъ кашлемъ.

Потомъ онъ слабо всплеснуль руками и поналился на подушку.

Съ обѣихъ коекъ вѣкоторое время раздавались глубокіе, протяжные стоны.

XI.

На другой день Саулу Ароновичу стало нѣсколько лучше, и онъ сѣлъ на кроватв.

— Такъ это совсѣмъ правда, что вы не будете открывать здѣсь школы?—въ десятый разъ спрашивалъ его меламедъ.

— Школа!..

Сауль Ароновичъ снисходительно улыбнулся.

— Конечно, не буду! Я-же намъ говорилъ. Я сюда только затѣмъ пріѣхалъ, чтобы поправиться. Чуть поправлюсь—сейчасъ опять за работу... На что мнѣ теперь школа, скажите сами! Теперь уже совсѣмъ не то, что было когда-то.

Тутъ меламеду испомнились (всѣ подробности того, что было „когда-то“, испомнился довось, и ему стало нехорошо.

— Э, что было, то было... Ну! я-таки тогда... я

намъ понредилъ... но—это не я... Ну, что дѣлать...
когда семейство... когда дѣти...

— Ай, да нсе это пустяки! Зачѣмъ вспоминать!..
Да и кромѣ того, намъ тогда изъ-за меня тоже не
мало горя было.

— Когда ны не знаете, что такое нужда, что та-
кое дѣти!..

— Да, ей-Богу-же, бросьте вы это. Было, не
было—что тутъ испоминать?.. Хотите, можетъ быть,
апельсинъ?

Меламеда не переставая мучила тошнота. Гуя-
кій кашель рвалъ его инутревности, и въ пере-
сохшемъ рту стоялъ отвратительный терпкій нкусъ...
На апельсинъ овъ смотрѣлъ съ жадностью, во наять
его не рѣшался. Онъ моячалъ и слабо улыбался
жалоствой, дѣтской улыбкой.

— Возьмите же!

Сауль Ароновичъ сползъ съ койки и, цѣ-
пляясь за стѣну, повесь старику апельсинъ.

Потомъ онъ опять съ ногами взобрался на по-
стель, вытащилъ изъ подъ подушки корректурные
листы „Указателя“, разложилъ ихъ на колѣяхъ и,
задумавшись, сталъ смотрѣть въ раскрытое окно.

День стоялъ чудесный—теплый, свѣтлый. Ши-
рокій больничный дворъ, обнесенный ветхимъ, по-
валившимся нъ темные кусты колючекъ забори-
комъ, весь покрытъ былъ молодой транкой и жел-
тыми одуванчиками, и только нъ одвомъ углу тя-

нулась длинная, раскопанная подъ огоро́дъ, полоса. Лопата была брошена на еи черный бархатъ и, какъ стекло, горбъло на солнцѣ отполированное о землю желѣзо. Нѣсколько старыхъ деревень, съ узловатыми мшистыми стололами стояли нъ разныхъ мѣстахъ. У самой стѣны больницы, посыпая длинные, обсыпанныя бѣлымъ цвѣтомъ вѣтви въ растворенное окно, почти лежала разбитая молнией, но еще живая яблоня. Въ голубой лужѣ, подлѣ нея, дѣловито крякая, присѣдала пара жирныхъ, бѣлыхъ утонь, и куры съ красными, какъ пламя, гребнями ходили по травѣ, издавая то особенное клохтаніе — изволнованное и пѣвучее,—но торое можно слышать только весной, въ пору нѣги и любви...

— Все это природа,—подумалъ Сауль Ароновичъ.—Отчего это и никогда не интересовался природой? Между тѣмъ, она такъ прекрасна. Когда, напримѣръ, наработатьсь, утомиться и потомъ обратиться къ божественному лону природы, то таки получаешь огромное наслажденіе... неописуемое... Вотъ эта, напримѣръ, воздухъ... куры... травка...

И его вдругъ охватило желаніе ныть на эту транку, лечь на нее, нарвать ее полными пригоршнями и положить къ себѣ за пазуху, на грудь... Но выйти ему нельзя было — да онъ бы и не могъ — и онъ только приподнялся поньше и оперся руками на подоконникъ.

Такъ онъ сидѣлъ въ солнечномъ пятнѣ, молча, неподвижно, съ „Указателемъ“ въ рукахъ, весь въ бѣломъ, весь облитый и обласканный теплымъ сіяніемъ весеннаго утра... Съ выраженіемъ нивнаго изумленія, онъ широко, по дѣтски, разсвирѣлъ глаза и, притаивъ дыханіе, смотрѣлъ въ распахнутое окно, на старый заборикъ, на деревья, на небо.

Две ласточки, съ шумомъ и крикомъ, шврахнулись вдругъ па яблоню, гибкія вѣтви ея сильно качнулись, бѣлые лепестки цвѣта беззвучно заколыхались въ неподвижномъ воздухѣ и тихо осѣли на койкѣ Саула Ароновича и въ его бородѣ. Онъ слегкѣ вздрогнулъ, и ему вдругъ сдѣлалось какъ-то необыкновенно хорошо и тепло. Ему было тепло отъ солнца, которое стояло тамъ, въ далекой глубинѣ небесной лазури, и еще теплѣе отъ другого солнца — отъ большихъ корректурныхъ листовъ, которые все крѣпче скимали онъ своей костлявой рукой... Эти два солнца согрѣвали его и извѣй, и изнутри, согрѣвали, нѣжили, ласкали и переполняли его сердце могучимъ, походившимъ на какое-то странное удушье чувствомъ умиленія и счастья...

Онъ вздрогнулъ опять, голова у него тихо звукружилась, слабая улыбка заиграла на губахъ, и въ глазахъ, обращенныхъ къ небу и отрвжавшихъ небо, заскрились слезы...

XII.

— Божественная вещь — природа, — обратился онъ, нѣсколько погодя, къ меламеду: — какой сегодня день! Свѣтъ, тепло...

— Да, слава Богу... больше уже не надо будеть топить.

— Это помимо, а такъ, просто — какъ великолѣпно!.. Транка, ноздухъ... Въ большихъ городахъ всего этого новсе не видишь. Тамъ все мостовая, дома... Природу наблюдать можно только нъ маленькомъ городкѣ. Ужасно какъ я люблю природу.

— А... а... мы все-жъ таки не останетесь здѣсь? — съ жиностью спросилъ меламедъ, и опять въ глазахъ его появилось беспокойство.

— Здѣсь? Да что же я здѣсь буду дѣлать, скажите сами! Какъ вы этого не понимаете! Что я тутъ буду дѣлать? Дѣтей „буки аэъ ба“ обучать? Для этого развѣ я живу на свѣтѣ?

— Но вамъ же вадо кушать, — сказалъ старикъ, поворачивая въ рукахъ апельсинъ и любуясь имъ.

— Ну, такъ что? Такъ я и буду жить для того, чтобы кушать? Для этого таки и жинеть человѣкъ на свѣтѣ?

Сауль Ароновичъ проворно понернулся.

— Ну, скажите вы мнѣ, мнѣ таки это чрезвычайно интересно знать, какъ по вашему, — для чего жинеть человѣкъ на свѣтѣ?

Меламедъ отложилъ ипельсинъ въ сторону и задумчиво посмотрѣлъ на Саула Арононича.

— Вотъ тебѣ ионсе иноность!.. Когда человѣкъ родился, такъ онъ долженъ жить. А что ему дѣлать? Пока Богъ даетъ дній—надо жить...

— „Надо жить, надо жить“! И разбойникъ живетъ, который людей рѣжетъ, и Спиноза тоже живеть... А какъ жить? Вотъ что я спрашиваю.

— Какъ жить? Жить, какъ Богъ нелѣль. Надо жить честно.

Сауль Арононичъ махнулъ рукой и нахмурился.

— Ахъ, нѣть! Это еще не то! Я спрашиваю—для чего надо жить? То есть для чего именно человѣку дана жизнь?

Онъ оперся рукой о койну, корпусомъ подался впередъ и со строгимъ видомъ уставился на меламеда. Меламедъ устался на него.

— Я не понимаю, что это такое вы спрашиваете? Человѣку жизнь дана отъ Бога, а для чего—это не инише дѣло. Этого мы знать не можемъ.

— Какъ „не можемъ“! Что такое „не можемъ“!! Нѣть, мы можемъ! Мы можемъ и знаемъ!

И вдругъ, придавъ сноemu голосу особенную торжественность, Сауль Арононичъ не сказалъ, а пропѣлъ:

— Человѣку жизнь дана для того, чтобы быть полезнымъ. Человѣку жизнь дана для того, чтобы помогать жить другимъ! Вотъ!

Стари къ посмотрѣль на Саула Ароновича, по томъ посмотрѣль на апельсинъ и, не сказавъ ничего, молча стала снимать съ него кожу.

— А иначе-же,—съ возраставшей горячностью продолжалъ Сауль Ароновичъ:—а иначе же зачѣмъ вовсе жить? Зачѣмъ человѣкъ? Иначе же человѣкъ бесполезенъ. А когда онъ бесполезенъ, значитъ, онъ пятое колесо! Значитъ—хоть сними его, хоть брось въ оговь—все равно! Что, это неправда? Можетъ быть, это неправда?

Онъ смотрѣль на меламеда вызывающе, почти дерако. А меламедъ такъ туго набылъ ротъ апельсиномъ, что отрѣзаль себѣ всякую возможность отвѣта. Онъ только промычалъ что-то сдавленнымъ голосомъ.

— Что, это лестное положеніе—пятаго колеса? Весьма благородное?.. Вотъ, напримѣръ, теперь—евреевъ бывать, преслѣдуютъ, а мы, значитъ, такъ себѣ, будемъ себѣ живѣтъ каждый для себя и безъ всякой общественной пользы?.. Оглично! Чтобъ мы, значитъ, не имѣли чувства общей солидарности, вѣ имѣли бы сноего самосознанія, не отдавали себѣ отчета въ томъ, что мы, и какъ мы, вѣ писали бы полезныхъ сочиненій, ничего! Чтобъ, однімъ словомъ, вездѣ были потемки, шкурный эгонамъ и только своя утроба? Такъ вовсе?.. Вонсе мы не можемъ знать, для чего намъ дана жизнь? О-о-отличное дѣло! За-амѣчательное дѣло!.. Только мвѣ,—поз-

вольте вамъ сказать,—это отличное дѣло всегда казалось неподходящимъ. И таки оттого я исегда стремился получить соотвѣтственное образованіе, чтобы потомъ учить другихъ... А составлять полезныя книги—это высшая степень учительства.

Меламедъ къ этому времени успѣлъ освободить свой ротъ отъ апельсина и сказалъ:

— Если хорошая книга, такъ она много стоитъ.

— И вы думаете, что когда „Сборникъ“ и „Толковый Указатель“ уже написаны, такъ это уже все, такъ уже ничего не осталось дѣлать? Ну нѣтъ, найдется еще и еще!.. Я же, слава Богу, не такой старый... вы думаете, сколько мвѣ лѣтъ?.. Мнѣ исего сорокъ четыре года—и я же не калѣка тоже! я еще могу поработать... Конечно, когда я былъ заброшенъ въ эту дыру, въ этотъ Вознесенскъ, у меня вѣ было ни пособій, ни материаловъ... А въ Одессѣ! Въ Одессѣ, слава Богу, исе есть, рѣшительно исе, что мнѣ надо.

— Адессы! Что это—игрушка Адессы?—почти-
тельно согласился старикъ.

— И теперь у меня есть совершенно оригиналъ-
ный планъ одного несъма замѣчательного и важ-
наго сочиненія. Оно имѣть самый обширный и
всезахватывающій интересъ, и главное — оно ка-
сается всѣхъ: какъ евреевъ, такъ равно и ру-
скихъ.

И онъ сталъ объяснять планъ этого нонаго со-

чинения,—но съ такими умоячаніями и хитрыми упущеніями, что меламедъ, ви въ какомъ случаѣ, не сумѣль бы предвосхитить его идеи.

— Что-жъ вы думаете?—задумчиво проговорилъ старикъ:—когда кто нибудь можетъ дѣлать добро, такъ это таки большое счастье. Это таки благословеніе отъ Бога... Только что, какъ вы теперь больной, то вамъ трудно.

— Э, больной, больной!.. Такъ что съ того, что больной? Сегодня болень—завтра здоровъ... А если кто сегодня здоровъ, такъ онъ у Бога квитанцію получилъ, что всегда будетъ здоровъ?.. Нечего къ себѣ прислушиваться!.. Надо себя отложить немножечко въ сторону—вотъ и все.

— А все же таки, вамъ же трудно...

— Трудно? А что, скажите, пожалуйста, легко?! Когда я вачаль учиться читать по русски и, какъ болванъ, въ словарѣ искалъ „красиваго“—мнѣ было легко? Въ словарѣ нѣть „красиваго“ Въ словарѣ есть „красвый, красильщикъ, краски“, а „красиваго“ нѣть. Я чуть обѣ стѣну головой отъ горы не бился, а спросить не у кого было—это легко?.. Потомъ, конечно, я уже узналь, что читать надо вовсе не красиваго, а красиваго, и что искать въ словарѣ надо „красивый“. И это все, позвольте вамъ сказать, вовсе не легко.. А съ жевой развестись легко!.. Мевя жевили, когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, и хотѣли, чтобы я былъ рѣзникомъ. А я

убѣжалъ въ Житоміръ учиться и женѣ послалъ разводь. Я жену любилъ и уже имѣлъ отъ вея ребвка... Такъ вы полагаете, разводиться мнѣ легко было?.. Отнюдь нѣтъ! Трудно, даже очень трудно... Только вечего на это смотрѣть!.. „Трудно, мнѣ трудно“... А другому еще труднѣе... Нечего себя выдвигать впередъ! Надо себя отклонить немножечко въ сторону, такъ и не будетъ никакого трудно...

Бесѣда, прерываясь стонамъ, кашлемъ и кряхтѣніемъ, тянулась довольно долго.

Потомъ въ больницѣ поднялась суматоха: пріѣхалъ почетный попечитель — господинъ Цыпоркесь.

Онъ, за эти годы, разросся до размѣровъ небольшого буйвола, отrostилъ восхитительныя баки, стала носить бѣлые жилеты,—вообще, видъ принялъ необыкновенно джентльмэнскій. Потомъ, однако-же, разило отъ всего еще сильнѣе, чѣмъ въ прежнія времена.

— Ого! ви вовсе издѣсь!—воскликнулъ онъ, увидѣвъ Саула Ароноввча:—а ви же, кажется, въ Адесстъ что-то въ очень високія окны попали? Пасатель стали! Что-то ви мене просили тогда, голова дурили, какія-то присловици чв што?

— „Сборникъ пословицъ“,—торжествующе сказала Сауль Ароновичъ.—Кромѣ того, я еще „Указатель“ составилъ.

— Совсёмъ „Аказатель“ уже? Какой „Аказатель“?

— Вотъ, посмотрите.

Сауль Ароновичъ протянулъ ему оттискъ.

„Толковый, справочно-библиографический и статистический указатель еврейскихъ и касающихся еврейства книгъ за послѣднее десятилѣтие, съ приложениемъ объяснительныхъ характеристикъ наиболѣйшихъ изъ нихъ“,—прочелъ господинъ Цыпоркесъ.

И почтительное изумленіе изобразилось на его толстомъ лицѣ.

Онъ перевернулъ листы, посмотрѣлъ (на нихъ съ другой стороны, пощупалъ бумагу, перевернулъ опять..

— Это ви написали эта книга?

— А то кто же? Читайте дальше.

Сауль Ароновичъ исталъ. На немъ была полотняная рубаха, слишкомъ просторная, съ длинными рукавами и разрѣзомъ до средины живота, коротенькие подштанники и чулки, спицые изъ полотна. Онъ вставилъ ноги въ огромные башмаки безъ задковъ, набросилъ на плечи полосатый халатъ и съ счастливой, довѣрчина улыбкой ласково смотрѣлъ господину Цыпоркесу прямо въ глаза.

„Составилъ преподаватель казенного еврейского училища Сауль Ароновичъ Перецъ“,—дочь таль Цыпоркесъ.

И выражение лица его сразу изменилось.

— Пхе! Важное дѣло!—онъ бросилъ оттискъ на койку.—Слыхали ви сторію... — пасатель! А штани, господинъ пасатель,—ежели васть спросить по совѣсти,—у васть есть?

Сауль Ароновичъ не понялъ вопроса и съ удивленіемъ смотрѣлъ на Цыпоркеса.

— Прежде всего, братишка мой, надо имѣть штановъ.—Цыпоркесъ потрепалъ Саула Ароновича по плечу, — а когда штаны уже имѣешь, такъ тогда уже можно себѣ быть и пасатель.

И, сопровождаемый пріятно хихиковшмъ фельдшеромъ и служителями, онъ направился къ дверямъ.

Сауль Ароновичъ вдругъ замигалъ глазами, покачнулся и грузно опустился на койку.

— Ввввв... началь было онъ, но въ груди его встала какая-то перегородка и дыханіе сперло. Онъ вцепился пальцами въ одѣяло и крѣпко сжалъ его. Глаза его раскрылись широко и налились влагой.

— То есть насчетъ пасатели ми уже немножечко видалъ,—громко объяснялъ въ сѣняхъ своей свитѣ господинъ Цыпоркесъ: — мн уже хорошо знаемъ, каково это товаръ. Этой пасатели, такъ они, какъ собаки, десять за одинъ...

— Сауль Ароновичъ!—закричалъ вдругъ меламедъ:—не обращайте вниманія!.. Не слушайте!.. Онъ

же хамъ!.. Онъ же скоть! Развѣ овь понимвть, что твкое инига!.. Мурло твкое, мазепа! Кровь пить, людей мучить—это его дѣло... Не смотрите на него, даже въ его сторону не смотрите, Сауль Ароновичъ, я васъ прошу!....

— Зубы у Сауля Ароновича разжались, и онъ тихо, съ какой-то стравной икотой, пробормоталъ:

— Онъ всегда меня унижалъ... Онъ всегда надо мною низко глумился.

— Твкъ же онъ инвче не можетъ!.. Это-жъ твкой подлый характеръ! Не обращайте на него внимвнія, я васъ прошу, я васъ очень прошу!.. Что онъ передъ вами? Хамъ, мурло. Только что у него деньги есть, но онъ же грубянъ. Что это,—господинъ Тейтельбумъ? Докторъ Лившицъ? Образованный, порядочный человѣкъ?.. Хамъ, кровопийца! Что онъ говорить, что собака брешетъ—все равно.

Не подымвя ногъ отъ пола, старикъ добрался кое-какъ до Саула Ароновича, укрылъ его, принесъ на его столикъ, сѣль къ нему на нойку и съ удвоеннымъ жаромъ продолжалъ свои увѣщанія.

Онъ былъ такъ краснорѣчивъ, вргументы употреблялъ такие неотразимые, что Сауль Ароновичъ мало-по малу сталъ остывать и успокаиваться.

— Что-жъ,—задумчиво сквзаль онъ:—вы таки правы, отъ господина Цыпоркеса таки нелья иного требовать.

— Чи я правъ? Ну, конечно! Это же грубиянь это же иеучъ. Такую же синилю воисе трудно найти...

Успокоился Сауль Ароновичъ, успокоился и старики и поползъ обратво къ себѣ. Дыхавіе у него сдѣлалось частое и прерывистое, и въ боку колоть стало вестерпивмо: пламенныя рѣчи ве произвоятся безиаказанно...

XIII.

Когда совсѣмъ уже стемиѣло, пришелъ служитель и зажегъ спускавшуюся съ середины потолка лампу. Потомъ овъ стала поправлять постельсосѣду Саула Ароновича,—однорукому, недавво оперировавшому мальчику. Служитель бытъ ве въ духъ и не переставалъ ворчать и ругаться. Онъ дразнилъ мальчика и злобно тормошилъ его, толкая то на одинъ, то на другой ковецъ койки. Покончивъ съ постелью, овъ собралъ со столиковъ пустыя склявки, кого-то, мимоходомъ, похвалилъ за „справность“, Саула Ароновича спросилъ, почемъ въ вочлежиныхъ домахъ беруть съ писателей, и ушелъ.

Стихло. Въ палатѣ было холодво, и стояла удушливая иовь—смѣсь запаховъ іодоформа, ретирада и горькаго дыма, который безпрестанно иыбивался изъ амъевидныхъ, квяякомъ обмазанныхъ трещинъ печки и мутнымъ облакомъ медлевно ползъ надъ

кроватямъ. Не говориль викто. Только сдавлеввое
оханіе да унылые обрывки вечервей молитвы слы-
шались то изъ одного, то изъ другого угла, а въ
чернѣвшія стекла, перелетая черезъ широкій боль-
ничный дворъ, съ гулкимъ авовомъ ударялись,
время отъ времени, взрывы трескучаго, дикаго хо-
хота и гнусавыя завывавія сумасшедшаго столяра,
котораго времевво, впредь до отправлевія въ пси-
хіатрическую больницу въ Херсонъ, помъстили въ
свободвой пока мертвецкой.

Сауль Арононичъ, до самаго подбородка вакры-
тый желтымъ войлокнымъ одѣяломъ, долго лежаль,
ве днигаясь, задумчивый и сосредоточевый. По-
томъ онъ поднялся на локтѣ и, обратившись къ
меламеду, спросилъ:

— Вы ве спите?

Тотъ сперва засопѣль, заохаль, потомъ отвѣ-
тиль:

— Сплю? Ну-ну! Хорошо сплю.. Я уже три
ведѣли ве сплю.

— Зваете, о чемъ я теперь думаю?

— Ну?

— Господній Цыпоркесь, вапримѣръ, такъ вѣдь
овъ вавѣрное считаетъ, что онъ счастливый чело-
вѣкъ...— вѣть?

— Болячки ему ве достаетъ.

— И спросите-ка его, такъ овъ же вавѣрно со

мной помѣняться не захочеть. А?. Какъ вы думаете?

— Конечно.

Хитрая улыбка появилась на лицѣ Саула Ароновича.

— Вотъ болванъ!

Онъ легъ опять и задумался.

Сумасшедшій столяръ въ мертвецкой завыль протяжнымъ, однообразнымъ воемъ, потомъ вдругъ сирѣло гаркнулъ и залился долгимъ, мучительно-горькимъ рыданьемъ.

— Мама, ой, мама! — нѣ ужасъ застоналъ безрукій мальчикъ и тихо захныкалъ.

— Не бойся, мальчикъ, это ничего, не бойся. Это больной человѣкъ,— успоконилъ его Сауль Ароновичъ.

И, высунившись изъ-подъ одѣяла, онъ снова понернулся къ меламеду:

— Я-жъ вамъ скажу, чтѣ такое этотъ Цыпоркесь это называется прискорбная аномалия въ природѣ нравственной сферы человѣка, нотъ что это!

Онъ легъ опять, и по лицу его, горѣвшему лихорадкой, улыбка расплылась еще шире.

XIV.

Утромъ у Саула Ароновича пошла горломъ кровь, и онъ лежалъ синій, холодный, съ закрытыми глазами, когда пришло изъ Одессы, отъ ти-

пографа, письмо съ просьбой присыпать скорый корректуру.

— А, ну я завтра, завтра,—слабо улыбаясь, забормоталъ онъ.

Но къ вечеру кровь показалась у него опять, и онъ впалъ въ безпамятство.

Черезъ два дня сумасшедшаго столяра на мертвѣцкой пришлось переселить на погребицу: мертвѣцкая понадобилась для Саула Ароновича.

Авторъ „Толконаго, справочно - библіографического указателя“ лежалъ на цинковой доскѣ, и служитель, наложивая саванъ, негодовалъ на искривленность его позвоночника, затруднившую работу.

— И откуда кто сорнется,—а ты тутъ клопочи, ей-Богу! Вотъ теперь господинъ писатель на мою голову. Вишь какой господинъ писатель! Самъ, какъ дуля, а горбъ... ну-ну!

Онъ потянулся, зѣнулъ, крѣпче зятянуль ремешекъ на штанахъ, првмѣрилъ холстъ и опять взялся за работу.

Онъ ворочалъ то сюда, то туда маленькое, изсохшее, съ огромными ступнями тѣло, а на окончѣвшемъ лицѣ Саула Ароновича играло подобіе мирной улыбки, и она точно говорила:

„Ну что-жъ, не надо къ себѣ прислушинаться! Таки надо себя немножечко въ сторону, такъ и будеть все хорошо“...

Когда, къ вечеру, выносили тѣло,—за узкими, черными носилаами шель только одинъ человѣкъ: жена глухого меламеда, Хана.

— Ты пойди, проводи, на самое кладбище проводи,—волнуясь, приказывалъ ей мужъ, и крупная мутная слеза выкатилась изъ его желтыхъ глазъ.—Ты не знаешьъ, Ханеню, что это былъ за человѣкъ! Золотой человѣкъ... Вотъ, возьми, спрячь эти листы, это его книга. Это знаменитое сочиненіе. Когда, Богъ дастъ, я выпишу, я тебѣ объясню, что это за сочиненіе.

Но знаменитое сочиненіе Саула Ароновича для Ханы навсегда осталось необъясненнымъ: она, черезъ двѣ недѣли, опять шла за тѣми же черными носилками, и лежала на нихъ ея мужъ, глухой меламедъ.

Его похоронили неподалеку отъ Саула Ароновича, почти рядомъ.

И теперь, когда, въ годовщину разрушения Соломонова храма, Хана съ дочерьми и калѣкой Йойной приходитъ на кладбище,—Йона молится, а женщины припадаютъ къ землѣ и плачутъ. И прежде, чѣмъ вернуться домой, Хана обыкновенно подходитъ и къ могилѣ Саула Ароновича и говорить:

— Господи, прими его въ свой свѣтлый рай! Господи, прости мнѣ то, что я сдѣлала этому человѣку.

САВАНЬ.

РАЗСКАЗЪ.

Отецъ маляра Мотьки, рябой и косоглазый флейтистъ Менахемъ, хворавшій лѣтъ двѣнадцать, не переставая, слегъ и былъ отправленъ въ больницу. Тамъ его продержали недѣлю и выписали: палаты были переполнены, а помочь больному оказалось невозможнымъ.

И теперь Менахемъ, весь скрученный, желтый и страшный, лежалъ дома и медленно умиралъ.

Разбухшія легкія его дышали быстро и тяжело, плоскіе хлопья зеленонатой смрадной мокроты отрывались отъ нихъ съ хриплымъ гуломъ, поть обильно струился по вадутымъ щекамъ, а выпущые, косые глаза затянуты были тѣмъ синеватымъ, холоднымъ туманомъ, который снѣственъ взору только тяжело-умирающихъ.

Порою туманъ этотъ сбѣгалъ, и тогда во взглядѣ музыканта, останавливавшемся то на одномъ, то на другомъ изъ копошившихся въ комнатѣ дѣтей, появлялось выраженіе муки и дикаго ужаса.

— Шестеро... я все на Мотьку... Господи ми-
лосердый!..

Грудь Мейхема подымалась еще выше, дыха-
ние становилось еще болѣе тяжелымъ, и обрывки
непонятной и, можетъ быть, совсѣмъ неподходя-
щей къ случаю молитвы беспорядочно путались въ
темномъ мозгу умирившаго...

Единственнымъ кормильцемъ семьи былъ те-
перь шестнадцатилѣтій Мотька. Съ утра до ве-
чера онъ слонялся по городу и разыскивалъ, ие
удастся ли гдѣ „схватить двугривенный“. О томъ,
чтобы въ глухую осень тяжелаго, неурожайного
года найти работу по малярному дѣлу, нечего было
я думать, и Мотька брался теперь за все. Разъ ему
посчастливило изъ нѣсколько дней првстроиться
при „оздоровлениі“ боенъ, которая, по случаю сви-
рѣствовавшихъ въ городѣ тифа и скарлатины, са-
нитарный надзоръ приказалъ поочистить. Потомъ
онъ съ недѣлю работалъ у переплетчика,—клейль
въ картова рамки. Потомъ въ торговыхъ баняхъ
починялъ заборъ, который повалило вѣтромъ... Но
все это было случайно, доставляло гроши, и семья,
вмѣстѣ съ умирающимъ, голодала...

„Уѣду въ Николаевъ,—мечталъ Мотька:—иъ
Одессу уѣду.. Города большие, тамъ всегда работу
найдешь...“

Но плаюовъ этихъ онъ въ исполненіе не приво-
дили: не было для погадка денегъ и нельзя было

покинуть умиравшаго отца. Кроме того, Мотька было хорошо известно, что и въ большихъ городахъ тоже дѣлать нечего, что рабочій народъ и нѣ Николаевъ тоже пухнетъ съ голоду... И онъ продолжалъ искать заработка на мѣстѣ, а мать его, Хася, тѣмъ временемъ таскала изъ дома всякую рухлядь и продавала ее полуголоднымъ стареньщикамъ...

Съ каждымъ днемъ Менахему становилось хуже,—понемногу, но замѣтно. Однажды съ нимъ случился пріадокъ удушья, такой продолжительный и тяжкій, что, казалось, наступилъ уже конецъ. Избавительница смерть, однако, не пришла, и послѣ трехчасового судорожнаго метания больной стала постепенно успокаиваться и затахнуть...

Хася вышла изъ комнаты во дворъ и глазами позвала за собой Мотьку. Дворъ былъ большой, не огороженный и примыкалъ къ огромному пустырю, по которому проходила городская канава. На краю канавы, привинувъ къ землѣ, стояла хилая хатенка. Въ ней топили, и дымъ бойко вырывался изъ кривой, увѣничанной опрокинутымъ горшкомъ трубы, но сильнымъ вѣтромъ дымъ тотчасъ пригибало къ низу и, побѣжденный, онъ тяжело ползалъ по грязному снѣгу и разливалъ въ сыромъ воздухѣ горкій запахъ горѣлага киаяка...

— Боже мой, Боже мой! — простонала Хася,

всплеснувъ руками.—Что мы съ тобой сдѣлали, Мстѣка?

Лицо у Мотьки выражало какую-то стривную подавленность; глаза его не смотрѣли на мать, въ предметно блуждали по сторонамъ, по темному бурьяну пустыря.

— Развѣ мы люди?.. Раавѣ мы стоимъ того, чтобы насть называли людьми?—продолжала Хася.—Мы звѣри... палачи-душегубы!..

Мотька молчалъ и по прежнему тупо смотрѣль въ сторону. Слова матери квкъ бы совсѣмъ вѣ доходили до его сознанія, усталаго и измучевнаго.

— Мы ведостойны того, что вѣсъ земля носятъ!—страство вскричалъ Хася.—Мы убийцы, окаянныя души...

— Ну, чего ты тамъ хочешь?—нетерпѣливо ввхмурился Мотька.—Что такое?

— Что такое?.. Ты еще спрашиваешь?.. А самъ, значитъ, ты не знаешь?..

Въ голосѣ Хаси, въ томъ выраженіи, которое ввездинно появилось въ ея костлявомъ лицѣ, было столько сильнаго, грознаго и злого, что Мотька, наконецъ, встрепенувшися.

— Да я вѣ понимаю!..

— Не понимаешь?.. Ты, знвчить, вины за собой не чувствуешь?..

— Сквжи, вѣ чѣмъ дѣло? О чѣмъ ты говоришь?

— О чѣмъ я говорю?

Хася, стиснувъ зубы, впилась глазами въ сына. Съ минуту она стояла, не проронивъ ни одного звука. Хотѣлось ли ей помочь Мотьку, отомстить ему за преступную иедогадливость, или же, напротивъ, ей больно и страшно было наносить новую рану этому почти еще дѣтскому, но уже такъ сильно истерзанному сердцу...

— Такъ скажи уже... ну!..— съ тревожвой мольбой произнесъ Мотька.

Хася обернулась, медленно обвела глазами дворъ и потомъ, склонившись къ сыну, къ самому его лицу, зловѣще прошептала:

— А саванъ?.. Саванъ у отца есть?..

Мотька вздрогнулъ... Для чего-то оцѣ тоже окинула взглядомъ домъ и дворъ, и пустырь и потомъ перевелъ глаза на мать. Нѣсколько мгновеній они смотрѣли другъ на друга, и у обоихъ было выраженіе испуга и муки.

— Вѣдь отецъ твой всетаки не подзаборный какой-нибудь...— съ силой вскрикнула Хася:— какъ же мы могли допустить, чтобы у него не было своего санаиа?!

— Господи, Боже мой!— простональ Мотька.— Я совсѣмъ не думалъ...

— Вотъ то-то, что ие думалъ!— съ ненавистью перебила Хася.— Ты не думалъ, я не думала, ви-
кто не думалъ, и отца придется хоронить въ чу-
жомъ саванѣ... Послѣдній нищій не допустилъ бы

до этого, а мы вѣдь всетаки приличными хозяевами были до сихъ поръ.... И мало на насть отецъ работалъ, мало страдалъ за насть?..

Она громко плакала. Мотька стоялъ съ низко опущеною головой, и видъ у него былъ совершенно убитый. Каждое слово матери расплавленнымъ свинцомъ падало на его сердце. Вѣдь совершенная правда, что и послѣдній нищій не допустить того, чтобы быть похороненнымъ въ чужомъ саванѣ. Чужой саванъ—это страшное несчастье, позоръ. Самый бѣдный человѣкъ дѣлаетъ прямо невозможное, чтобы уберечься отъ него. Не ъсть, не пьеть, собираетъ по копѣйкѣ и обезпечиваетъ себя послѣднимъ уборомъ. Даже у безногаго Менделя, вищаго въ одивокаго, саванъ девять лѣтъ лежалъ въ сундуке, пока въ немъ явилась надобность... Всѣ бѣдные люди поступаютъ такъ и запасаются сававомъ во-время... Только онв вотъ этого не сдѣли... И теперь ихъ покойника похоронять въ чужомъ, даренному одѣяніи...

До сихъ поръ Мотьку мучилъ голодъ, мучило сознаніе, что голодаетъ семья, мучилъ ввѣдъ умирающаго отца. Теперь ко всѣмъ этимъ мукамъ прибавилось новое страданіе: угрызеніе совѣсти...

Отецъ болѣеть съ каквъ поръ, и давно уже известно, что овъ умираетъ. За это время случалась работа, за это время распродали все, что было въ квартирѣ, перепадали, значитъ, кое-какія деньги,

а о покупкѣ санана никто не подумалъ... Человѣкъ—подлый эгоистъ! Человѣкъ—лѣсной авѣръ! Когда овь голодѣнъ, овь думаетъ только о томъ, чтобы нажраться, а долгъ, даже самый святой, для него не существуетъ...

— Несчастные мы, несчастные!—взвыла Хася.

И, удариивъ себя кулакомъ въ голову, она медленно, уже не плача, побрела домой...

Наступиншная иочь была для Мотьки ужасною.

Съ какой сторовы онъ бы подходилъ къ вопросу, онъ не могъ найти себѣ вѣ только оправданія, во въ смягчающихъ вину обстоятельстнъ. За эту зиму они опустились. Они привимали подачки, подаявія. Но это ничего не авачить. Живой можетъ протягивать руку, во покойника отъ этого срама надо уберечь. Усопшій человѣкъ—снять, оттого и кладбище называется „святымъ мѣстомъ“. Святого человѣка вельзя допустить до позора.

Мотька лежалъ на полу, ва ридѣ, и мысль о чужомъ саванѣ веустанво сверлила его сердце. Какъ могъ онъ забыть о своемъ долгѣ! И какая ужасная, гнуснал вѣблагодарность по отношевію къ отцу!.. Отецъ всю жизнъ трудился, какъ каторжникъ. Больвой, съ распухшими легкими, игралъ на снайдѣахъ до разсвѣта, днемъ бѣгалъ по городу по маклерству, терпѣль всякия униженія, издѣвательства,

и исе это для семьи, чтобы добыть двѣмъ хлѣбъ, чтобы ихъ учить. Изъ него, Мотьки, онъ хотѣль даже сдѣлать доктора, нанималь ему учителей и готовилъ въ прогимназію. Но Мотька быль лѣнивъ и неспособенъ: ученье рѣшительно не шло ему въ голову. Бились съ нимъ, бились, а толку ие вышло. Пришлось его отдать въ науку къ маляру, въ Менахемъ до послѣдняго времеии сокрушался, глядя на сына: „Не хотѣль меня Господь благословить,—со скорбью говорилъ онъ,—не даль мнѣ удачнаго первенца“.

— Удачный первенецъ!—язнительно шепталъ Мотька:—кать, а не первенецъ!..

И ему казалось теперь, что отецъ оттого, что будетъ погребенъ не въ своемъ саванѣ, будетъ опозоренъ на вѣчныя времеии—и здѣсь, передъ живущими, и въ загробномъ мірѣ. Душа усопшаго, лишенная покоя, станетъ блуждать по землѣ и разыскивать собственныи саванъ... Обыкновено блуждаютъ только души грѣшниковъ, души людей, которые при жизни дѣлали много зла. Но, въ концѣ концовъ, какъ знать это иѣ точности? Какъ знать такія тоикости ему, темному малому, ничему не учившемуся, неотесаниому, иевѣжественному маляру?..

Мотька сѣль, прислонился худой щекой къ темной и сырой стѣвѣ и началъ прислушиваться къ дыханію отца. Оно было странное и страшное—

гулкое, хрипящее, рокочущее. Казалось, что внутри у больного что-то жесткое и твердое разрывается от начала до конца, потомъ склеивается опять и опять разрывается. И еще казалось, что въ горлѣ и груди у него все занесено тяжелой мокротой, что онъ силится извергнуть ее вонъ, и не можетъ...

А на дворѣ въ это время отжившая, но не хотѣвшая уступать свое мѣсто осень на смерть боролась съ зарождавшейся зимой. Буйнымъ дождемъ и гнильмъ морскимъ вѣтромъ она разъѣдала грязно-блѣду пелену выпавшаго наканунѣ снѣга и обламывала на деревьяхъ и вездѣ, гдѣ находила, послѣдніе остатки едва появившійся ледяной коры. И деревья, не желавшія оковъ, помогали осени и тяжело раскачивались, свирѣпо бушуя, черными вѣтвями... Сердито метался встревоженный камышъ на разореной крылѣ; задрагивая, скрипѣли обнаженные стропила, и гулко хлюпала въ полѣ просачивавшаяся черезъ вогнутый и готовый обрушиться потолокъ вода... Тревожные, жуткие, угрожающіе звуки, ни на минуту не стихая, трепетали въ холодномъ сумракѣ и наполняли Мотькину душу мучительнымъ страхомъ и непобѣдимой тоской... Ему казалось, что въ этой части на кладбищѣ, среди мирныхъ, неподвижныхъ памятниковъ, нѣкоторые могилы вскрываются, и давнымъ давно погребенные люди выходятъ изъ нихъ наверхъ. Съ горестнымъ вздохомъ, стуча костями, блуждаютъ они во

тъмъ и ищутъ собственные саваны... Вотъ вдали что-то бѣлѣеть... покойники устремляются впередъ... Но то не саваны, а полосы полуразмытаго снѣга... Съ глухими стонами покойники отходить прочь и снова начинаютъ скитаться, и скитаются безъ конца...

Раннимъ утромъ, когда было еще темно, Мотька вышелъ изъ дома съ твердымъ рѣшеніемъ не возвращаться безъ савана.

Какъ его добыть? Работы Мотька не найдетъ,— это онъ зналъ. Взаймы ему не дадутъ,— это тоже было ему известно. Оставалось одно: украдь что-нибудь и продать...

Объ этомъ Мотька думалъ долго и напряженно, и у него, наконецъ, сложился опредѣленный и стройный планъ...

На краю города, за лѣсными складами, стояло большое, новое зданіе пивоваренного завода. Строили его полтора года тому назадъ, и Мотька отдавывалъ здѣсь квартиру для пивовара завода, чеха Кубаша. Было тогда лѣто, зеленѣла трава, пѣли жаворонки, разливала нѣжный ароматъ бѣлав акація, и Мотька чувствовалъ себя молодымъ, счастливымъ и добрымъ... Онъ стоялъ тогда на подоконникѣ, проворно водилъ по стани ю жирной кистью и во несъ голосъ распѣвалъ веселыя пѣсни, еврейскія и русскія.

— Спѣвака, спѣвака,—заворчалъ, неожиданно появляясь, Кубашъ, огромнаго роста мрачный человѣкъ съ бритыми усами и коротенькими желтыми бачками.—Спѣвать ты можешь, а какъ работаешь?

— Посмотрите.

Мотька спрыгнула съ подоконника, воткнувшись въ ведро съ красками и стала подлѣ Кубаша. Мрачный чехъ внимательно оглядѣлъ только что выкрашенный ставень, потомъ въ другой комнатѣ обоя—хорошо ли пришелся узоръ на швѣ, потомъ для чего-то помѣшилъ въ ведрѣ краски и, вичего не сказавъ, вышелъ въ переднюю. Здѣсь, на широкой стѣнѣ, противъ входа, Мотька, вѣнеговора, изобразилъ kleевыми красками вулканъ. Изъ верхушки совершенно правильной синей пирамиды вились вверхъ широкія полосы охры и суринка—огненные языки; какие-то плотные черио-красные блины въ большомъ количествѣ иссились въ стѣнѣ клубахъ дыма, а внизу, у основанія пирамиды, опять было царство суринка и охры,—это изображало уже море.

— Угу!—вскричалъ Кубашъ, пораженный такимъ великолѣпіемъ.—Ты настоящій молодецъ... Ей-Богу... Знаешь? Будешь мимо завода проходить—пожалуйста, входи: всегда будешь пиво получать. Пей, сколько угодно...

И вотъ въ это холодное, вѣтряное и дождливое утро Мотька отправился на знакомую пивоварню.

Мѣсто здѣсь было глухое, безлюдное; заводскіе сараи заполнены были разнымъ добромъ, всѣ входы и ныходы въ нихъ Мотька знать отлично и разсчитывалъ на вѣрную удачу..

Но когда онъ сталъ приближаться къ высокому сѣрому зданію, имъ начало овладѣвать сомнѣніе...

— Не сумѣю,—уныло бормоталъ онъ:—ничего не найдется... все равно ничего не найдеть... Вернуться бы...

Но въ немъ жило жестокое соображеніе, что нытнъ „должно“, что отгонорокъ никакихъ не можетъ быть, — и онъ продолжалъ идти...

— Ну, что же я тутъ назыму? — съ сердечнымъ замираніемъ спрашивалъ онъ себя черезъ пѣсколько минутъ, прильнувъ лицомъ къ намокшимъ темнымъ доскамъ забора и оглядывая черенъ щелку широкій дворъ.—Ну, куда тутъ?..

На пинонарцѣ было пусто и тихо, какъ въ покинутой усадьбѣ, и казалось, что здѣсь и не работаютъ, и не живутъ, что все здѣсь вымерло давнымъ-давно и иною жизнью не замѣнилось...

— Вотъ сарай открыть... сани тамъ... упряжь... инструментъ разный... А какъ унести?.. Поймаютъ нѣдѣль, непремѣнно поймаютъ...

Мотька тоскливо оглядѣлся.

Налѣво, сквозь густую сѣтку дождя, смутно видѣлась городская окраина: жалкія лачужки, повалившіеся плетни, темные массы лѣсныхъ скла-

донъ и подлѣ нихъ, въ низменныхъ мѣстахъ, образовавшіяся за ночь большія сѣрыя лужи. Направо тянулось обширное кладбище,—то самое, куда на дніяхъ отнесутъ завернутаго нѣ чужой санань Менихема... Прямо впереди разстипалось поле, унылое и иутное, и илали, по черной дорогѣ, медленно плелась одинокая, затушеванная дождемъ телѣга. Тащившимъ ее воламъ было трудно, они часто останавливались, и невидимый нозница проклиналъ ихъ и оглашалъ тусклую мглу протяжными и плачущими крикомъ...

Мотька стоялъ, сжинившись и подогнувъ колѣни. Руки его были вложены нѣ карманы парусиновой куртки, а куртка эта была вся мокрая, какъ тряпка, которой скульпторъ покрываетъ свою глину. Она прилипла къ спинѣ, и худыя, острыя лопатки Мотьки обрисовывались отчетливо и ясно.

— За велосипедъ много бы дали, — думалъ Мотька, снова припадая къ щелкѣ.—Возьму велосипедъ и отведу въ городъ.

Было дико и совершенно безразсудно предполагать, что это можетъ удастся. Но Мотька такъ былъ измученъ горемъ и голодомъ, что утратилъ способность извѣшивать обстоятельства... Онъ напряженно смотрѣлъ нѣ щель и, стараясь прорѣзать глазами утренній сумракъ, разыскивалъ велосипедъ...

— Эге, ты?!—раздался вдругъ чей-то громкій голосъ.—Пришелъ?..

Мотька вздрогнулъ и быстро откинулся отъ забора.

На деревянномъ, занесенномъ глиной и грязью крыльцѣ, которое еще такъ недавно Мотька тщательно раскрашивалъ подъ черный мраморъ, въ высокихъ ботфортахъ и непромокаемъ плащѣ стоялъ Кубашъ.

— Что, малярь? Жарко стало? Пива захотѣлось?

Мотька растерявво оглянулся. Потомъ, точно внезапно сообразивъ что-то, быстро подошелъ къ крыльцу.

— Господинъ Кубашъ,—взмолился онъ:—дайте мнѣ какои ввбудь работы!

— Работы?—удивился Кубашъ.—Какая же теперь работа? Теперь работы нѣть... Лѣтомъ буду строить флигель, тогда приходи, будетъ тебѣ работа.

— Мнѣ теперь нужно... сейчасъ... мнѣ вужно сегодня... мнѣ нужно ва саванъ...

Внезанный порывъ вѣтра пригнула верхушки темныхъ акацій, толкнула въ спину Кубаша, а Мотьку ударила въ узкую грудь и въ лицо, по раскрытымъ рту.

— Я все буду дѣлать... что хотите...

Кубашъ вахмурился.

— „Все буду дѣлать“, — угрюмо проворчалъ

овъ.—А гдѣ я возьму? Я—министръ?.. Дѣлъ нѣть, пива никому ве вадо. Почти всѣхъ рабочихъ разсчиталь... Вотъ лѣтомъ, когда будуть строить флигель...

По лицу Мотыкѣ пробѣжало что-то холодное, иедобре и перекосило его губы.

— „Лѣтомъ“... А теперь... Господинъ Кубашъ, что же мвѣ теперь дѣлать: воровать, что ли?..

Свова вѣтеръ ударилъ его въ грудь и свова послалъ въ его раскрытый ротъ цѣлую пригоршню крупныхъ и холодныхъ дождевыхъ капель.

— Воровать?.. Ахъ, подлая погода!..—Кубашъ повернулся къ Мотыкѣ бокомъ и ваялся за дверную ручку.—Теперь миогіе воровать пошли; полный городъ воровъ... Ну, а ты маляръ хороший,—дружелюбно улыбаясь, добавилъ овъ.—Ты вороввать ве будешь.

— Буду! Честное слово буду!—сь силой вскричалъ Мотыка и ударилъ себя кулакомъ въ грудь.—Буду... Я вотъ и сейчасъ велосипедъ хотѣль у ввѣк украсть... Я затѣмъ и пришель сюда.. вотъ уже высматривалъ въ щелку...

Кубашъ оторвалъ руку отъ двери, проворно обернулся и уставился за Мотыку тревожнымъ взглядомъ.

— Велосипедъ?.. Ты!..

— Да, я... Я пришелъ красть... Велосипедъ или упряжь, или другое что... все равно, что попадется...

Мотька трясясь всемъ ововимъ худенькимъ, маленькимъ тѣломъ и возбужденными, горящими глазами смотрѣлъ на Кубаша. Кубашъ суроно хмурился и молчалъ. Но въ сердцѣ этого человѣка все было суроность. Напротивъ, въ немъ шевелилось что-то похожее на смущеніе и жалость...

„Двугривенный ему дать?“ подумалъ онъ.

И онъ было просунулъ руку въ карманъ... Но дѣлый рядъ соображений сталъ возвращаться въ его голову... Двугривенный отдашь, а толку не будетъ... Ему двугривенного мало... Завтра же онъ придется за новой подачкой... А деньги теперь и безъ того со всѣхъ сторонъ дерутъ. На прошлой недѣлѣ былъ ковдерть „въ пользу“, теперь елку стали готовить тоже „въ пользу“... Сборы не кончаются, давай да давай, и винтихъ развелось тьма тьмущая... Дай вотъ ему теперь, а онъ возьметъ, да въ видѣ благодарности, и въ самомъ дѣлѣ велоопн-педъ стащить...

Кубашъ отдернулъ назадъ наѣхавшій на глаза капюшонъ и исподлобья взглянулъ на Мотьку. Тотъ стоялъ по прежнему, согнувшись колѣва и обтягивая спину мокрой курткой; лицо его выражало решимость въражду.

„Опасно“, думалъ пивоваръ: „только пріучишь его сюда шататься: повадится самъ и другихъ приведеть... цѣлую шайку воровъ приведеть... имъ здѣсь удобно, мѣсто глухое“.

И то чувство, похожее на жалость, которое до сихъ поръ тихо шевелилось въ его сердцѣ, вдругъ исчезло и замѣнилось холодной злобой.

— Воровать ты эдѣсь не сможешь,—рѣзко и вищительно отчеканилъ онъ.—У меня, братъ, двустволка чудесная... Я церемониться не стану: прямо въ голову буду цѣльть... Да! И потомъ, вотъ еще что,—сильнѣе закипая, добавилъ онъ:—сегодня же я заявлю пристазу, и если малѣйшее что у мевя случится—ты первый отвѣтчикъ!.. Понялъ?.. Понялъ ты это?

Мотька молчалъ. Странное чувство смутнаго недоумѣнія стало охватывать его.

„Но какъ же это... вѣдь нуженъ саванъ“... мыслило шепталъ онъ: „вѣдь необходимъ... Вѣдь иелья же безъ савана“...

— Ну, и ступай, откуда пришелъ!—заключилъ Кубашъ.—Ступай, ступай... велосвѣдѣстъ!.. Проваливай!..

Мотька опустилъ голову и тихо побрелъ вдоль канавы... Вода въ сапогахъ его чавкала мѣрио и громко. Вдали злобио и горестио крвчаль иевидимый возища, и обезсиленные волы уже ве плелись, а стояли иенодвижно...

— Эй, послушай-ка, малляръ!—опять раздался голосъ Кубаша.—Поди-ка, братъ, сюда.

Мотька остановился.

— Поди сюда,—повторилъ пивоваръ:—дѣло есть.

Въ скорбныхъ мазахъ Мотьки вдругъ мелькнуло что-то похожее на надежду, и онъ поспѣшно подошелъ къ крыльцу.

— Ты аоть что мнѣ скажн,—началь Кубашъ, спускаясь со ступенекъ и подходя къ Мотькъ вплотную.—Ты вотъ, я вижу, на вѣръ руки мастеръ... такъ ты ужъ тово... говори лучше прямо: послѣ Покроаа тутъ у развозчика Анисмана кинеть съ тремя рублями украли,—твое это дѣло?

Мотька шелъ на кражу, и самъ же обѣ этомъ Кубашу занялъ, но теперь, когда его обаннили въ воровствѣ, аъ аороаствѣ, не предполагавшемся только, а уже совершенномъ, онъ анезапно почувствовалъ горькую обиду и тяжелый, разъѣдающій стыдъ. И такъ же ввеванно мелькнула у него мысль, что если большой позоръ—быть погребеннымъ въ чужомъ саванѣ, то еще болѣе позорное дѣло—сааанъ, пріобрѣтенный посредстаемъ кражн...

— Признавайся,—загремѣлъ Кубашъ,—твоя работа?

Мотька поднялъ на обидчика полные грустнаго укора глаза.

— Моя? — удивлевво и жалобно проговорилъ онъ:—я?.. моя работа?..

— Твоя!.. Ужъ, конечно, твоя!.. А то чья же?..

Лицо у Кубаша сдѣлалось злымъ и жестокимъ; нижняя губа вакрыла аерхнюю, глаза округлились,

а отъ раздувшихся ноздрей протянулись винзъ днѣ
длинныя, рѣзкія складки...

— Какъ правда то, что есть Богъ на свѣтѣ...—
всхлипнувъ, началъ Мотька.

— Ты про Бога молчи, снолочь!—гаркнулъ Ку-
банъ, свирѣпъ и схватывая Мотьку за плечо. —
Тогда кисеть, теперь велосипедъ, упряжь... но-
рюга!..

— Я не воръ... клянусь вамъ... Богомъ кля-
нусь... отцомъ и матерью клянусь... Господинъ Ку-
банъ, я адѣсь не былъ уже полгода...

— Врешь, сукинъ сынъ, былъ! Кралъ!.. И мѣшкі
нѣ сарая укралъ... Я тебя отучу сюда таскаться,
прохвостъ!..

Кубанъ схватилъ Мотьку за пиноротъ и при-
поднялъ.

Онъ былъ человѣкъ рослый и плотный и нѣ
своемъ длинномъ и широкомъ непромокаемомъ
плащѣ походилъ на святую съ пьедестала огром-
ную бронзовую статую... Въ его длинныхъ, могучихъ
рукахъ дѣтская фигура Мотьки затрепыхалась и
забилась, какъ бьется подъ ножомъ мясника двух-
недѣльный ягненокъ... Кубанъ поднялъ ногу, обу-
тую въ тяжелый ботфорть, согнувъ ее и съ раз-
маху ударилъ Мотьку въ спину...

Мотька отлетѣлъ шаговъ на десять въ сторону
и, тяжело ухнувъ, слепнулся грудью и животомъ
на размытую землю. На немъ были дареные, через-

чуръ большиe штиблеты, и теперь одинъ изъ нихъ сорвался съ ноги и плюхнулся въ канаву.

— Будешь звать, подлюга,—говорилъ Кубалъ, подымаясь обратно на крыльцо.—Теперь больше не явишься!..

Но словъ его Мотька не слышалъ. Онъ былъ оглушенъ и лежалъ, какъ мертвый.

Когда же черезъ нѣкоторое время къ нему вернулось сознаніе и онъ поднялся,—лѣвый глазъ его не могъ раскрыться, а изо рта у него струнлась перемѣшанная съ жидкой грязью кронь.

Медленно, держась обѣими руками за бока, сильво хромая лѣвой босой ногой, онъ потащился къ городу...

— Господи, отчего онъ не убилъ меня?..— судорожно простоналъ онъ.

Но тутъ онъ вспомнилъ, что умирать ему вельзя, что ему еще нужно добыть для отца саванъ и спасти его душу отъ вѣчнаго скитанія...

Дождь лиль, было холодво въ темво; казалось, что нозмущенное солнце отвернулось отъ этого несчастного, насыщенаго василіемъ и злобою края и больше уже не взглянетъ на него никогда...



О ГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

1) На чужбинѣ	3
2) Рабъ	62
3) Земляки	108
4) Объ одномъ владѣніи	151
5) «Немножечко въ сторону»	176
6) Саванъ	242